ВОСПОМИНАНИЯ И ИНТЕРВЬЮ

DOI 10.24412/2076-8176-2022-4-124-160

Воспоминания С.И. Огнёва «Как я сделался зоологом»

Публикация, комментарии и вступительная статья ***Е.П. Крюковой***

Независимый иссследователь, Москва, Россия.

Сергей Иванович Огнёв (1886–1951) — выдающийся российский зоолог, основатель московской научной школы териологов. Его научные интересы начали формироваться с детства благодаря атмосфере, созданной его родителями — отцом Иваном Флоровичем Огнёвым, гистологом, профессором Московского университета, и матерью Софьей Ивановной Огнёвой, происходившей из рода Киреевских. Как и у подавляющего большинства зоологов — современников С.И. Огнёва, его интерес к зоологии начинался с охотничьих пристрастий и был неотделим от них. В своих воспоминаниях С.И. Огнёв много места уделяет своим первым охотничьим опытам, первым коллекциям насекомых, пойманных им лично или приобретённых, и людям, оказавшим наиболее сильное влияние на формирование его интереса к зоологии. Публикуемая рукопись воспоминаний С.И. Огнёва хранится в семейном архиве потомков Огнёвых и подготовлена к печати его племянницей Еленой Петровной Крюковой.

Ключевые слова: Сергей Иванович Огнёв, орнитология, энтомология, Огнёвы, Киреевские, М.А. Мензбир, П.П. Сушкин, Поливановская гимназия.

Автор этих воспоминаний — Сергей Иванович Огнёв (1886–1951), выдающийся российский зоолог, основатель московской научной школы териологов, заслуженный деятель науки России, профессор и заведующий кафедрой зоологии МГУ, автор многочисленных трудов по систематике млекопитающих, фаунистике, экологии и географии животных, а также многотомной сводки «Звери СССР и прилежащих стран» (т. 1–7, 1928–1950). Дважды лауреат Сталинской премии (1942, 1951).

С.И. Огнёв родился в семье профессора Московского университета Ивана Флоровича Огнёва (1855–1928). Мать Сергея Ивановича, Софья Ивановна, происходила из дворянского рода Киреевских; её отец был двоюродным братом славянофила И. В. Киреевского. Большое влияние на Сергея Ивановича оказал его брат

© Крюкова Е.П., 2022

Александр Иванович, философ, глубоко интересовавшийся вопросами естествознания, друг Л.М. Лопатина и П.А. Флоренского.

В 1905 г. С.И. Огнёв окончил Поливановскую гимназию и поступил на Естественное отделение Физико-математического факультета Московского университета, которое окончил в 1910 г. и где был оставлен проф. Г.А. Кожевниковым для приготовления к профессорскому званию. Таким образом, научная деятельность С.И. Огнёва охватывает почти полстолетия (первая научная статья была опубликована им ещё на 2-м курсе) и до конца жизни была связана с Московским университетом, в частности — с Зоологическим музеем, где был его кабинет (легендарная «Огнёвка»). Кроме того, С.И. Огнёв был профессором и заведующим кафедрой зоологии во 2-м Московском университете (Педагогическом институте им. Ленина) и в Московском городском педагогическом институте им. Потёмкина. Он воспитал целую плеяду отечественных зоологов. С.И. Огнёв является автором более 200 научных работ в области изучения фауны млекопитающих, а также более десятка классических учебников по зоологии и экологии, неоднократно переиздававшихся. Им написан ряд научно-популярных книг — «Жизнь леса» (книга выдержала 7 изданий и была отмечена Сталинской премией), «Жизнь наших степей», «Фотография живой природы». Его перу принадлежат биографические очерки многих выдающихся биологов нашей страны: Н.А. Северцова, Б.М. Житкова, А.П. Семёнова-Тян-Шанского, Г.А. Кожевникова, М.А. Мензбира, а также интереснейшая книга об отце Сергея Ивановича, озаглавленная «Иван Флорович Огнёв. Страницы из жизни Московского университета и московской интеллигенции конца XIX и начала XX века». Она посвящена не только воспоминаниям об отце автора, И.Ф. Огнёве, прекрасном человеке и выдающемся учёном, одном из основоположников московской гистологической школы и основателе кафедры гистологии и медицины Московского университета (ныне это Первый медицинский институт), но и о его коллегах, друзьях и знакомых — известных русских учёных и людях, составлявших тот круг российской интеллигенции, которым по праву гордится Россия. Судьба этой книги в высшей степени драматична. Она должна была выйти в свет в 1948 г., но прошла знаменитая августовская сессия ВАСХНИЛ, и уже напечатанный тираж книги был уничтожен. Лишь несколько экземпляров чудом сохранились в семье автора. Сейчас книга готовится к переизданию.

Рис. 1. Профессор С.И. Огнёв в своем рабочем кабинете в Зоологическом музее Московского университета 4 февраля 1942 г.

Fig.1. Professor S.I. Ognev in his study at the Zoological Museum of Moscow University on February 4, 1942

Но главным трудом жизни С.И. Огнёва стал фундаментальный семитомник «Звери СССР и прилежащих стран», работу над которым можно назвать подвигом. Это беспрецедентная в истории зоологии, поистине титаническая работа, выполненная практически одним человеком. Лёгшие в её основу научные коллекции, собранные С.И. Огнёвым во время многочисленных экспедиций, исчисляются многими тысячами экземпляров. Сергей Иванович трудился непрерывно, часто до глубокой ночи, в течение многих лет, в том числе и в голодные и холодные военные годы. Этот гигантский труд составил целую эпоху в науке о млекопитающих, переведён на многие языки и признан зоологами всего мира.

Документальные материалы и зоологические архивы С.И. Огнёва остаются практически не обработанными. Часть семейных архивов С.И. Огнёва хранится у его потомков, другая часть — в Центральном историческом архиве г. Москвы. Зоологические архивы переданы Государственному Дарвиновскому музею (Москва). Рукопись предлагаемого вниманию читателей отрывка из воспоминаний С.И. Огнёва о детстве и юности, названного автором «Как я сделался зоологом», была подготовлена к печати его племянницей Еленой Петровной Крюковой и хранится в семейном архиве Огнёвых. Все публикуемые фотографии также взяты из семейного архива.

Как я сделался зоологом

С.И. Огнёв

Это было очень давно, мне было лет восемь, а моему старшему брату Саше[1] — десять. Однажды, задумавшись, я сказал Саше: «Знаешь, что я хочу сделать, когда буду большим, — я хочу написать книгу „Звери России", в которой были бы описаны все наши звери». Саша промолчал, но я невольно заметил выражение неудовольствия, промелькнувшее у него на лице. Много позднее Саша признался мне, что моя декларация его очень в то время раздосадовала: как раз та же затея, ещё не высказанная, родилась в его собственной голове. Ему стало досадно, что я постоянно становлюсь у него на дороге…

Между тем брат Саша имел на меня очень большое влияние, и развитие моего интереса к зоологии обязано во многом именно ему. Саша был в то время очень привлекательный мальчик, с кудрями вьющихся белокурых волос, с большими добрыми, несколько задумчивыми глазами. У Саши в этом раннем возрасте была своя, несомненно, богатая душевная жизнь, он много читал и был по временам странно рассеян. Как сейчас помню его забравшимся с ногами на большое кресло-качалку, стоявшее в огромной столовой в нашей старой университетской квартире, помещавшейся на четвёртом этаже в главном университетском здании. Саша сидит, слегка покачиваясь, и внимательно читает, склонившись над «Жизнью животных» Брема[2]. Эта книга была его главным авторитетом, его сокровищем. Помню, как однажды он сказал: «Знаешь, мамочка, я право не знаю, как бы я стал жить без Брема!» Я был тогда от-

[1] Огнёв Александр Иванович — философ-спиритуалист, приват-доцент Московского университета, ученик Л.М. Лопатина и друг П.А. Флоренского.

[2] «Иллюстрированная жизнь животных. Общий очерк царства животных» — научно-популярная книга, впервые изданная немецким зоологом и путешественником Альфредом Эдмундом Бремом. Третье издание «Жизни животных», богато иллюстрированное, было вы-

Рис. 2. Серёжа и Саша Огнёвы. 2 мая 1891 г. Сереже 4 г. 6 мес., Саше 6 лет

Fig. 2. Seryozha and Sasha Ognev. On May 2, 1891, Serezha was 4, 6 months old, Sasha was 6 years old

носительно ленив на чтение, но Сашины рассказы, почерпнутые из Брема, слушал с великой охотой. У нас были свои любимцы из зверей, и к таким принадлежал бобр. Однажды мама купила нам где-то двух фарфоровых бобров, у одного из них спина была темно-шоколадная, у другого — более рыжая. Особенно ценился нами первый бобр; оба этих бобра служили нашими любимыми игрушками.

Как-то Саша, после долгого чтения Брема, пришёл неожиданно в большое расстройство и сказал мне с некоторым ужасом и отвращением: «Я прочитал о такой гадости у Брема, что теперь просто не знаю, не оставить ли мне навсегда зоологию!» Оставить зоологию! Гадость, обнаруженная в книге Брема! Что бы это могло быть? «Саша, покажи, что ты прочитал? — Нет, ни за что!» Я был страшно любопытен и настойчив. У Саши был характер мягкий, кроме того, Саше было всегда очень трудно держать что-либо в секрете. Через короткий срок, после настойчивых приставаний, я узнал, в каком томе напечатаны эти ужасные строки, а скоро мне стала известна и страница. Я раскрыл второй том и прочитал: «Содержимые в неволе дикобразы нередко плодятся… Постоянно увеличивающийся объём самки нашей пары, — пишет мне Бодинус, — возбудил во мне надежду на приплод, и действительно, однажды, к великой моей радости, я нашёл в клетке юное, только что появившееся на свет животное… Моя забота о том, чтобы отец как-нибудь не навредил новорожденному, оказалась напрасной: он хотя и с любопытством смотрел на юное создание, но нисколько о нём не заботился, между тем как мать прежде всего занялась уничтожением последа и пуповины. Я не мешал ей наслаждаться этой отвратительной пищей…» Прочитав всё это, я невольно остановился в полном разочаровании, потому что ничего толком не понял. Что такое послед, что такое

пущено с 1890 по 1893 г. Работа была переведена на разные языки, в том числе на русский, и пользовалась огромной популярностью.

пуповина? Почему это так отвратительно, что впору бросать зоологию? Однако мой старший брат оказался теперь непреклонным и не захотел давать мне дальнейших пояснений, оставив меня во мраке наивной невежественности.

Вскоре смутные впечатления сгладились, и увлечение зоологией стало расти и крепнуть. Я очень любил по выходным ходить в старый университетский зоологический музей. Он помещался тогда на Большой Никитской в том же корпусе, где была университетская церковь. В старом музее была большая двусветная зала, часть которой занимала аудитория с амфитеатром чёрных скамей. В зале стояли искусственные пальмы и нескладные чёрные шкафы с чучелами. На хорах большой залы помещались чёрные клетки с решетками, в которых работали студенты-специалисты и оставленные при кафедре. Весело было бегать по залу между шкафами и разглядывать чучела зверей и птиц. В одном конце зала стояло чучело носорога «Моньки», который при жизни своей обитал в Московском зоологическом саду. Но уже в те годы меня более чучел и музея привлекала свободная природа.

Мне невольно вспоминается прекрасный сад в Ивановском, в имении моего покойного дяди Сергея Ивановича Киреевского[3]. Мы с братом Сашей особенно любили большой пруд среди сада. Бывало, сбежишь вниз по большой аллее из пирамидальных тополей, спустишься под горку к окаймляющей пруд дорожке, обсаженной раскидистыми ивами и ракитами, и осторожно подойдешь к «головке» пруда с зарослями рогоза и тростника. Как приятно здесь в тени и прохладе по сравнению с открытыми местами сада, где воздух раннего летнего утра уже наливается жаром, как весело слушать поблизости громкий концерт зеленых лягушек! У Саши был любимый потайной пост на склонившемся над водой стволе ивы. Здесь было удобно сидеть и наблюдать. А насмотреться было на что! В тростнике перепархивали и весело пели камышевки, крякали дикие утки, иногда они, к нашему великому удовольствию и радости, выплывали на открытый плес. Случалось нам видеть и малых выпей, нескладным, пугливым полетом, проносившихся над зарослью. Особую радость доставляла серая цапля, жившая на этом пруде. Птица казалась чрезвычайно крупной и красивой. Я всё мечтал, чтобы дядя Сергей Иванович застрелил эту заманчивую представительницу пернатых, хотелось полюбоваться на нее поближе.

В противоположность мне, Саша относился к природе платонически-созерцательно. Он любил подолгу наблюдать каких-либо животных без веских охотничьих тенденций, без желания добыть данную птицу или зверя. Самый вид животного, его повадки, движения доставляли Саше огромное удовольствие. Более того, он не любил, когда стреляли какую-нибудь птицу, самый звук выстрела был ему неприятен.

В это же время сказались мои охотничьи инстинкты. Если я слышал звук выстрела, то у меня являлось неудержимое желание бежать смотреть, каковы результаты; я реагировал на выстрел, как гончая охотничья собака. Нет сомнения, что с ранних лет охотничьи наклонности слились у меня со страстью к животным, к зоологии.

Как-то весной, перед отъездом на летние каникулы, отец взял меня с собой в охотничий магазин И.И. Шёнбруннера, который помещался тогда в Газетном переулке. Мой отец выбирал себе новое двуствольное ружье и купил нарядную и изящную двустволку А. Франкотта[4], модель «плюм».

---

[3] Ивановское — одно из родовых поместий Киреевских, принадлежало Сергею Ивановичу Киреевскому, брату матери Сергея Ивановича Огнёва. Оно было расположено в Малоархангельском уезде Орловской губернии, на чернозёмной равнине.

[4] Ружья бельгийской фирмы «Франкотт» были и остаются одними из самых изящных и добротных ружей. Модель «плюм» — облегчённое (*plume* — «пёрышко»).

Владелец магазина, добродушный, толстый, обрусевший немец Иван Иванович Шёнбруннер показал мне «настоящее» детское ружьё. Это была очень лёгкая шомпольная одностволка. Я залюбовался на узорчатые дамасковые стволы, на никелированный замок с гравировкой, на красивое ореховое ложе, на правой стороне которого была пистонница[5] с выпуклым изображением сеттера на стойке. Как заколдованный глядел я на это маленькое ружьё; сокровище стоило пятнадцать рублей; эта сумма казалась мне необыкновенно значительной. Я шёл домой, тихо мечтая о заманчивой вещи. На следующий день мама объявила мне, что сегодня я получу это ружьё в подарок от отца. Действительно, вскоре принесли вместе с двустволкой и моё ружьецо. Это был предмет моей гордости, моего неудержимого хвастовства. Мои товарищи, смотря на моё ружьё, говорили: «Хорошая штучка, неплохо бы такую иметь!» А я любезно соглашался, вешая своё ружьё на погон[6] над своей кроватью.

В этом году в Ивановском (в Орловском имении моего дяди Серёжи[7]) сапожник из села Богородицкого соорудил мне «настоящие» большие сапоги выше колена. Кроме этого, к моим охотничьим доспехам прибавился настоящий ягдташ[8] из жёлтой кожи с кисточками-висюльками на днище сетки.

Отец иногда брал меня с собой на охоту. Как я любил запах отцовского патронташа[9] и прочих доспехов, мягкая кожа их пахла порохом, вызывая в фантазии самые приятные представления. Лакей Михайло шёл на конюшню передать распоряжение заложить лошадей в охотничий тарантас. Папа переодевался, натягивал высокие, выше колена сапоги с такими казавшимися мне особенно симпатичными широкими, почти прямоугольными носками. «Сапёр», лохматый грифон[10], которого мой отец выписал себе из-за границы, очень любил и называл ласково «Eselchen»[11], приходил в большое волнение: обнюхивал вещи, махал хвостом, подвывал. От Сапёра не отставал и я, суетясь тут же в своих «высоких сапогах» и в прочем вооружении. Наконец мы выходим на крыльцо. От конюшен быстро отъезжает кучер Егор в охотничьем тарантасе, делая круг и заворот по большому двору. Егор не надел на этот раз своей шапки с павлиньими перьями и бархатной безрукавки, он сидит с деловым видом на своих козлах в легкой свитке и простом картузе: охота не поездка в гости, а дело серьёзное.

Мы садимся на широкое кожаное сидение, днище тарантаса обито линолеумом; мой отец ставит своё ружьё между коленами дулом вверх, я поступаю так же; Сапёр вспрыгивает в экипаж. Поехали. Мелькают берёзы въездной аллеи, черноземная пыльная дорога заворачивает направо. Как хорошо и весело! Лошади бегут резво, высоко в небе слышатся трели жаворонков, в низинах покрикивают коростели. Мы едем на Лутовиновское болото, которое раскинуто в луговой низине близ имения И.С. Тургенева — Лутовиново. Вот перед нами и болото с кустами по окрайкам. Вдалеке крестьяне косят свежую траву. «Походи здесь по краешку, — говорит мне папа, — а я пойду с Сапёром на болото». Я брожу по кочкам, между которыми поблескивала ржавая вода, приятно чувствовать, что мне всё нипочём в моих длинных сапогах.

[5] Коробочка для хранения пистонов.

[6] Ружейный погон — ремень для ношения ружья.

[7] С.И. Киреевского, в Малоархангельском уезде, в 45 верстах от станции Поныри.

[8] Ягдташ — сумка (часто сетчатая), куда складывалась убитая дичь.

[9] Патронташ (нем. *Patronentasche* — «патронная сумка») — снаряжение для ношения патронов с отдельными ячейками для каждого из них.

[10] Грифон — порода охотничьих собак, предположительно французского происхождения.

[11] Ослик (*нем.*).

Раздались первые выстрелы; я взбегаю на бугорок, откуда лучше видно болото. Отец отошёл уже далеко, впереди мелькает серо-белым пятном Сапёр. Вот собака остановилась, наверно, замерла. Отец спешно подходит, видно, как он поднял ружьё; два выстрела раз за разом. Я хорошо знаю, что отец очень горяч и часто стреляет дуплетами. Наверное, что-то убил, потому что быстро идёт к Сапёру, что-то поднимает. Пора и мне стрельнуть. На ивовые кустики опустилась стайка овсянок. После выстрела птички улетают. Я стрелял холостым зарядом; моё легонькое ружьецо иначе сильно отдаёт. Через некоторое время я собираюсь идти назад к лошадям и экипажу, там должен быть и Егор. Однако лошадей и кучера нет, бегу смотреть, где папа, он уже так далеко, что едва виден. В моем воображении встаёт мрачная картина: папа ушёл, Егор куда-то уехал; в ружье был только один заряд, теперь оно пустое. Что теперь я буду делать? Картина такая мрачная, положение столь трудное, что я молча сажусь на траву и начинаю тихо плакать, слегка причитая. Мимо проходят косари и посматривают на печальное зрелище. Через некоторое время быстрыми шагами подходит отец: «Что с тобой?» Смеётся на мои жалостные объяснения. Подъезжает Егор, который поил лошадей. «Мужики сказывают — барчонок сидит один и плачет, — говорит Егор с весёлой усмешкой, — вот я поскорей и подъехал». Собираемся назад домой. В мой ягдташ складывается застреленная дичь — бекасы, погоныши, коростели. Ягдташ стал сразу увесистым и полным. Забыв недавние слёзы, я с гордым и весёлым видом занял своё место в охотничьем экипаже.

Об охотах я любил подолгу рассказывать своим сверстникам. Я был мальчиком правдивым, но, как настоящий охотник, когда дело касалось этого увлечения, моя фантазия становилась необузданной, мысль переходила в полосу самого широкого творчества. Удивительно, что мальчики старше меня, например мой двоюродный брат Ваня Рагозин, внимательно слушали мои бредни. Своих рассказов я, конечно, не помню, но мама говорила мне, что ей всегда смешно было наблюдать подобные сцены. До её слуха долетали иногда отдельные фразы. Она помнит момент, когда мои слушатели напрягли своё внимание, рассказ шёл об охоте на лисицу, причём мама запомнила мою красочную фразу: «и вдруг в кустах что-то затурухтело…»

Как-то дядя Серёжа взял моё миниатюрное ружьецо, он захотел исправить бой. Мы подошли к конюшне, на коньке крыши которой беззаботно сидели несколько переговаривающихся галок. Дядя выстрелил в одну, держа моё ружьё на вытянутой руке, как пистолет. Галки слетели, но одна с подбитым крылом жалко и беспомощно скатилась с крыши и упала на траву. Было интересно и завлекательно посмотреть поближе на этот охотничий трофей. Вскоре мы пошли ужинать, а потом мы с братом отправились спать в нашу уютную детскую. За окном было темно, лаяли спущенные на ночь сторожевые собаки. Невольно я вспомнил про галку. Каково ей уснуть раненой, страдающей в темноте неприветливой ночи, пожалуй, её найдут и разорвут «ночные собаки». Мне стало так жалко эту несчастную птицу, тяжёлое положение которой ярко нарисовало моё услужливое воображение. Потребовались утешения мамы и Елизаветы Андреевны[12], чтобы я немного успокоился. Маленькая шомполка была, в сущности, моей игрушкой, я из неё не убил ни одной птицы, зато мысленно совершил немало охотничьих подвигов, самых интересных и удивительных. У меня был избыток творческой фантазии.

В сущности, начало моих охотничьих похождений относится к более позднему времени. Когда мне было четырнадцать лет, я стал мечтать о малопульной винтовке. На Рождество 1899 года родители подарили мне в Сочельник на ёлке очень хорошую и изящную винтовку «La Francotte», купленную всё в том же милом моему сердцу магазине Шёнбруннера.

[12] Эльдринг Елизавета Андреевна — гувернантка детей Огнёвых.

Ранней весной 1900 года, будучи в гостях у бабушки Наталии Федоровны[13], я попросил разрешения посмотреть ружьё, принадлежавшее дяде Пете (Петру Флоровичу Огнёву), стоявшее в углу в запыленном кожаном чехле. Это была очень легонькая и изящная двустволка 16-го калибра фабрики Я. Новотни (в Праге)[14]. Ружьё имело свою историю. В 1873 году брат моего деда Петр Иванович Огнёв был заграницей и жил некоторое время в Праге. Флор Иванович[15] поручил ему купить для своего сына Ивана, поступившего в университет, хорошее ружьё. Петр Иванович исполнил это поручение очень ответственно; он познакомился лично с Новотны, убедил его, что они братья-славяне. Новотны растаял и предложил за 250 гульденов для покупки модельное ружьё, сделанное очень тщательно и обладавшее отличным боем. По словам Новотны, точно такие же ружья, только более роскошной отделки, были сделаны по заказу королю Испанскому и Амедею, принцу Савойскому. Мой отец много охотился с этим ружьецом, а потом приобрёл себе очень хорошее ружье 12-го калибра Авг. Франкотта (копию с модели Пёрде), а «Новотны» подарил младшему брату Петру, вовсе не охотнику, у которого ружьё стояло в углу комнаты.

Приехав домой, я предался сладким мечтам: как бы заполучить ружьё? Просто просить подарить его мне я никогда бы не решился, сказать об этом маме считал неудобным. К ночи, когда я ложился спать, я неожиданно принял решение: я стал молиться, решив сделать при этом сто поклонов. Молился я горячо; я твердил: «Боже, что Тебе стоит сделать это для меня!» Заснул с надеждой в душе. На другой день с утра был в гимназии и вернулся домой часам к четырём. В гостях у нас был дядя Петя, у меня, что называется, «ёкнуло сердце».

Через короткой срок дядя вошёл ко мне в комнату: «Знаешь, Серёжа, — начал он, — я только что говорил с твоими родителями и спросил разрешения подарить тебе ружьё; оно мне, в сущности, не нужно, да и по праву оно как бы принадлежит именно тебе». Не могу описать моего восторга. На другой день в воскресенье я спозаранку поехал на Мещанскую к бабушке, где жил дядя Петя. «Ишь в какую рань собрался, — язвила тётя Анюта, — а то и не дозовёшься». Счастливый, я на извозчике ехал домой. На Неглинной у магазина Рогена я сказал извозчику остановиться и купил за рубль прекрасный зелёный погон с вышивкой в виде чёрных поперечных зигзагов. С любовной гордостью смотрел я на своё ружьё.

Я расскажу далее, как прошли первые охоты с настоящей двустволкой летом 1919-го года. Мне хочется отметить здесь моё другое сильное увлечение в области зоологии: я со страстью собирал жуков и бабочек. Большой интерес к ним возник очень давно — летом 1895 года, когда мы жили на даче в Клинском уезде в имении «Молодом», принадлежавшем купцу Чернядеву.

Среди лета мама взяла с собой брата Сашу и меня, и мы поехали на короткий срок погостить к дяде в Орловское имение Ивановское. Стояло прекрасное жаркое лето; когда садилось солнце, при начале вечерней прохлады, благоухали цветники около дома. К великому удовольствию, я увидел огромное количество крупных бражников, носившихся от цветка к цветку, быстро и ловко трепыхавших своими крылышками. У меня был энтомологический сачок, и я с жаром принялся за дело. Дух захватывало, когда после ловкого взмаха стремительно летавший красавец бился в нежных складках сетки. Я ловил молочайных, винных, сиреневых бражников, различных совок, длинноязычниц (Macroglossa). Всё это было ново, интересно.

---

[13] Наталия Фёдоровна, урождённая Аммон, мать Ивана Флоровича Огнёва, отца Сергея Ивановича.

[14] Знаменитая в Европе чешская оружейная фабрика Johann Nowotny в Праге.

[15] Огнёв Флор Иванович — отец Ивана Флоровича, дед Сергея Ивановича.

Мы поехали к брату моего деда Александру Николаевичу Киреевскому в Богородицкое. После жаркого дня настал вечер, взошла луна, старые берёзы и липы таинственно шептались от колебаний легкого дуновения ветерка, с большого пруда издалека несся концерт лягушек, а в цветнике, огромном и прекрасном, что делалось здесь! Во всех направлениях, привлекаемые медовым запахом левкоев и гелиотропов, кружились, носились и танцевали в воздухе бесконечные бражники. Настоящее лето юга развернулось передо мной во всем блеске своей пышной красоты. Сколько бесконечных годов прошло с тех пор, а я не могу забыть этих ярких впечатлений! С целой коллекцией бабочек приехал я назад на московскую дачу. Здесь ждала меня новая радость: зная мои молодые увлечения энтомологией, папа и студент-гувернер Владимир Александрович Загуменный (впоследствии известный Московский доктор) занялись для меня ловлей бабочек. Они показали мне ящик с аккуратно расправленными чешуекрылыми. Среди них, к моей великой радости, красовался махаон, мечта и радость всех юных коллекционеров. Папа также поймал для меня прекрасного сиреневого бражника.

Родители, что было с их стороны очень хорошо и педагогично, всячески старались поощрять эти и без того сильные интересы. Я был мальчиком очень впечатлительным, живым и увлекающимся. Чтение соответствующих книг ещё более способствовало нараставшей страсти. Помню, как я зачитывался путешествием в Перу юного натуралиста Люсьена Биара, который совершил эту заманчивую экспедицию со своим отцом и с зоологом Сюмикрастом. Эту книгу подарил мне и брату дедушка Александр Николаевич[16]. Как хотелось посмотреть экзотическую природу, полюбоваться замечательными по красоте бабочками.

Около самого университета в Долгоруковском переулке помещался магазин Фридриха Шеера. Его хорошо знали все университетские работники и студенты. Чего только не было в этом магазине! Различные препараты вскрытых животных, скелеты, чучела, микротомы, лупы, микроскопы и пр. Меня же особенно пленяли огромные коллекции насекомых. Первое, что я сделал, — купил за рубль большого, прекрасно расправленного бражника-мёртвую голову. В магазине меня с моей гувернанткой Елизаветой Андреевной встретил сам Шеер, седой старик с бритым подбородком, с торчащими, как у моржа, седыми пышными усами, с характерным старческим румянцем на щеках и ласковым блеском голубых глаз из-под слегка насупленных белых бровей. Держа в зубах неизменную сигару, он охотно показывал свои сокровища. Здесь в первый раз я увидел южноамериканских бабочек — огромных морфид. Казалось, что на их лучезарных синих переливчатых крыльях отразился весь обольстительный блеск тропического неба! Шеера, видимо, искренне забавляли мои неподдельные восторги. Придя домой с моей относительно скромной «мёртвой головой», я пустился в рассказы об увиденном.

Настало 23 октября, день моего рождения. Утром я пошёл здороваться с мамой. Волнуясь, я ждал подарков. Мама ещё не встала; лежа в постели, она поздравила меня и протянула мне небольшой ящик со стеклянной крышкой. В ящике, сверкая чудной синевой огромных крыльев, сидела на булавке аматонте, прекрасная представительница благородных морфид[17], а под ней другая красавица из тропических анатур. Не успел я как следует осознать своё счастье, а меня уже ждала новая радость. Когда я вошёл в столовую, где папа пил свой утренний

[16] Киреевский Александр Николаевич (1837 — после 1907) — брат отца матери Сергея Ивановича, Софьи Ивановны Огнёвой. Её интереснейшие воспоминания «Полвека моей жизни» готовятся к изданию. Необходимо заметить, что, следуя семейной традиции, Сергей Иванович называет «дедушка» и «бабушка» также братьев и сестёр своих прямых предков, т. е. своих двоюродных бабушек и дедушек.

[17] Морфиды — род крупных дневных бабочек из семейства Nymphalidae, обитающих в тропиках Амазонки. К ним принадлежит и вид аматонте (*Morpho amathonte*).

кофе, я получил от него целый ящик тропических бабочек. Здесь были красивые геликонии, эуплоеа, данаиды[18] и многие другие. Самый ящик имел два стекла: бабочек можно было рассматривать по желанию как сверху, так и снизу.

В большой детской комнате я приладил ящики на стене, причём была устроена темная штора на колечках; эта штора закрывала мои коллекции от вредного действия солнечного света. Моя энтомологическая коллекция постепенно росла. На этикетках я сокращенно писал «К.С.О.», что значило «Коллекция Сергея Огнева». Мама, увидев такое символическое сокращение, в шутку называла меня «мальчик КСО».

Некоторые из моих гимназических товарищей также собирали бабочек, но таких любителей зоологии было крайне мало. В средней школе естественные науки тогда не проходились; ими увлекались лишь те немногие, у которых такое стремление было заложено в самой натуре. Среди моих гимназических товарищей сбором коллекций занимался только один Серёжа Смирновский, мальчик весёлый и легкомысленный, пустой и испорченный. Он занимался этим делом с увлечением, как спортом, без всякого настоящего интереса. И даже такое беспочвенное увлечение моего приятеля сблизило нас. Я не мог равнодушно смотреть на те экземпляры насекомых, которые отсутствовали в моих личных коллекциях. На почве соревнования и коллекционной ревности неминуемо возникли обмены и оригинальные, часто наивные сделки. В коллекции Серёжи Смирновского была, между прочим, очень красивая большая синяя крымская жужелица (*Procerus tauricus*), которая не давала мне покоя. Я хотел её выменять на что-либо подходящее. Для того, чтобы особенно заинтересовать меня, Серёжа с жаром уверял, что жужелица, и без того такая большая, ещё растет. У меня всегда, а в детстве особенно, была глупая доверчивость к людям, но в данном случае я крайне усомнился, указав, что мертвая и сухая жужелица, притом сидящая на булавке, расти не может.

Из моих охотничьих удач на почве лова бабочек мне особенно запечатлелся в памяти один случай. Весной 1897 года мы вместе с братом Сашей и нашей гувернанткой Елизаветой Андреевной Элдринг, которую мы оба очень любили, поехали погулять в Петровско-Разумовское. Был прекрасный майский день, весело зеленела трава и жёлтыми пятнами мелькали первые весенние цветы, когда мы ехали в вагоне паровика на пути в Петровскую академию[19]. Из высокой синевы долетали трели жаворонков. Мы сошли с «паровичка» и проходили мимо главного здания дворца с его выпуклыми стёклами окон. Вдруг, мне не забыть этого впечатления, такое оно было яркое и сильное, прямо мимо меня пролетел прелестный подалирий[20] и сел на дорожку, разводя и снова смыкая свои красивые крылья. Я был поражён, я знал, что подалирия нет в Московской губернии. Откуда здесь этот залётный красавец? Через мгновение я сорвал с головы свой детский английский шлем, сделал быстрый кошачий прыжок и, задыхаясь от волнения, трепещущей рукой ловко схватил трепыхавшегося под шлемом подалирия, которого явно погубила его излишняя доверчивость. Долго после того он украшал мою коллекцию.

---

[18] *Heliconius*, *Euploea*, *Danaus* — бабочки из семейства нимфалид. Распространены в тропиках и субтропиках Центральной и Южной Америки, Индии, Малайзии, Индонезии, Японии и южного Китая.

[19] Петровская земледельческая и лесная академия (ныне Российский государственный аграрный университет) расположена в Петровско-Разумовском парке, в усадьбе, специально перестроенной для неё в 1863–1865 гг. архитектором Бенуа.

[20] Бабочка семейства парусников.

На Рождество мне подарили роскошное издание — *Max Korb*. Die Schmetterlinge Mittel-Europas[21]. Эта книга, которая тщательно хранится и теперь в моей библиотеке, содержит очень большое количество художественно исполненных цветных таблиц. В тот же день Рождественского Сочельника (кажется, в 1897 году) я получил ещё целый ряд подарков не только от родителей, но и от Елизаветы Андреевны, и от Владимира Александровича Загуменного. После ёлки мы, дети, сидели за чайным столом, рассматривая подарки. Я не отрывал глаз от цветных таблиц Корба. Боже, думал я, как меня все любят, какие все добрые и хорошие, как я должен быть счастлив! Эти чувства какой-то неудержимой волной наполняли мою душу. Это не была излишняя сентиментальность, а только повышенная впечатлительность моей чрезвычайно живой натуры, но я, неожиданно для самого себя, стал плакать. Плакал долго и радостно, любуясь на пестрых бабочек, мелькавших на таблицах. Мама, со своей обычной чуткостью понимавшая все движения детской души, предоставила мне по-своему выражать свои экспансивные чувства, как будто так и должно было быть.

Почти каждую зиму в Москву приезжал из Орловского имения дядя Серёжа; он захотел поощрить мои интересы к энтомологии и пошёл в магазин Шеера. Дядя любил делать основательные, солидные подарки. Он остановил свой выбор на покупке огромного жука-слона (*Megasoma elephas*). Этот жук по тому времени стоил очень дорого — 12 рублей. Импозантная огромная фигура дяди невольно привлекала внимание, а его милое и любезное обхождение располагало к разговору. Шеер осведомился, для кого приобретается жук «слон», и объявил: «Я хорошо знаю этого мальчика и уступлю вам жука за 10 рублей».

Как-то в Петербург собрался поехать мой крёстный отец Дмитрий Федорович Повалишин[22]. Он предложил мне составить список насекомых, которые меня особенно интересуют, чтобы приобрести их в Петербургском магазине Глаама. Из деликатности я не пометил в списке какие-либо особенно ценные объекты. Мне хотелось в то время иметь широкого плавунца (*Dytiscus latissimus*) и большого водолюба. Этих жуков мне не удавалось самому поймать. Через некоторое время Повалишин приехал из Петербурга и, попыхивая папиросой, сообщил мне замечание Глаама, показавшееся мне очень обидным. Глаам, посмотрев мой список, пренебрежительно заявил: «Ведь этих жуков мальчик может поймать в любой луже». Приобрести таких жуков, которые были бы недоступны мальчику, Повалишин почему-то не захотел. Так я и остался при «пиковом интересе». Мое самолюбие энтомолога жестоко пострадало, стерпеть этого я не смог. Немедленно я сел и написал Глааму послание, полное яду. «Вы думаете, господин Глаам, — писал я, — что каждый мальчик в любой луже может поймать *Dytiscus latissimus*, а знаете ли вы, что я уже два года напрасно стараюсь поймать этого жука, хотя искал его очень настойчиво, и т. д.». Письмо я оставил на своём столе, и оно доставило много удовольствия маме, которая это писание прочитала. Оно так и осталось неотправленным.

Как-то в газете мы прочитали объявление, что в гостинице «Дрезден» (на площади генерала-губернатора, которая позднее стала называться Скобелевской[23]) остановился приехавший из заграницы некий Heine и продает коллекцию насекомых. Мы отправились с мамой по указанному адресу. Постучали в дверь гостиничного номера. Раздался громкий и резкий

---

[21] *Макс Корб*. Бабочки Центральной Европы. Эта книга и сейчас хранится в семейном архиве Огнёвых.

[22] Повалишин Дмитрий Фёдорович (17.02.1856–1916) — действительный статский советник, помещик, близкий друг Огнёвых.

[23] Ныне Тверская площадь.

голос — «Herein!»[24] Перед нами стоял высокого роста рыжеватый блондин с откинутыми назад довольно пышными волосами и с окладистой бородой. Весь большой номер, который занимал Heine, был заставлен столами, а на них заманчиво красовались многочисленные энтомологические коробки. У Heine была превосходная коллекция главным образом экзотических насекомых. Цены были относительно невысокие. Ввиду экстренности случая мама решила купить мне довольно много бабочек, в том числе огромного шелкопряда атлас[25], одну из самых крупных бабочек мира. Так постепенно наполнились мои довольно значительные коллекции.

После очерка о занятиях энтомологией перехожу теперь опять к рассказу о моих увлечениях и первых похождениях со столь неожиданно доставшимся мне ружьём «Новотны» и с малопульной винтовкой «La Francotte».

Первое лето моих охотничьих похождений было в 1900 году. После гимназических экзаменов (я перешёл тогда из третьего класса в четвёртый) мы поселились в мае месяце на даче близ г. Клина в имении Демьяново, принадлежавшем Владимиру Ивановичу Танееву, брату известного композитора.

Рис. 3. Семья Огнёвых (лето 1899 г.). Слева направо: Володя, Иван Флорович, Софья Ивановна, Серёжа Огнёвы, Л. А. Дивавин (репетитор), Саша Огнёв. Снято на даче близ Сергиева Посада

Fig. 3. The Ognev family (summer 1899). From left to right: Volodya, Ivan Florovich, Sofia Ivanovna, Serezha Ognev, L. A. Divavin (tutor), Sasha Ognev. Filmed at a dacha near Sergiev Posad

Это было красивое имение со старым барским домом, в цветнике которого стояла статуя Екатерины Великой, с прекрасным липовым парком и красивыми окрестностями. Кроме нас, в Демьянове жили две хорошо знакомые семьи: историка профессора Д.М. Петрушевского[26] и доктора Н.С. Щелкана[27]. Последний был тогда ещё молод, ему было тридцать с небольшим

[24] «Войдите!»

[25] *Attacus atlas* — бабочка из семейства павлиноглазок. Одна из крупнейших бабочек в мире.

[26] Петрушевский Дмитрий Моисеевич (1863–1942) — профессор кафедры всеобщей истории Московского университета, историк-медиевист.

[27] Щелкан Николай Сергеевич (1870–1944) — хирург.

лет, он был ассистентом профессора И.К. Спижарного[28]. Николай Сергеевич Щелкан был человеком в полном смысле обаятельным, весёлым, энергичным, по-детски всем увлекающимся. Его нельзя было назвать красивым, но статный, сильный, отличный спортсмен, он располагал к себе с первого взгляда своим открытым весёлым лицом, каким-то специфически чарующим обращением и прирождённым тонким джентльменством. Это был человек на редкость благородный, душевный и отзывчивый. При таких качествах Николай Сергеевич имел какой-то совершенно исключительный успех у женского пола и много терпел по этой линии от своей строгой, резкой по характеру супруги Елизаветы Алексеевны (урождённой Маклаковой), дочери известного профессора Алексея Николаевича Маклакова[29]. Николай Сергеевич обо всём говорил с какой-то особенной экспрессией и увлечением, служила ли темой его любимая охота, или хирургия, или наука и искусство. Моего отца он нежно любил, был в Университете его учеником и всегда называл «профессор». Самый говор Николая Сергеевича был оригинален, он произносил обычное «е» как «э оборотное», и в этой своеобразной речи был свой особый «шарм». В это лето Николай Сергеевич имел на меня огромное влияние и был моим первым наставником на поприще благородного спорта.

Мне было строго сказано, чтобы, взяв ружья, я не покупал себе патронов, их привезут мне родители, и только с приездом отца я буду стрелять из своей «La Francotte». Иметь такую винтовку без патронов было выше моих сил! Я пошёл на компромисс и купил себе коробку патронов монтекристо[30].

Было прекрасное майское утро, когда, переночевав первый раз на даче, мы встали к утреннему чаю. Как сейчас помню то особое наслаждение, которое чувствуешь, оказавшись после Москвы в настоящей деревне. Как приятно слышать птичьи голоса — трели зябликов, флейтовый голос дроздов и заунывный свист иволог. Солнце радостно пригревало, пахло свежей землей и зеленью. Я вышел на балкон. Перед домом на старом дубе, одетом ещё не развернувшейся листвой, сидела ворона и о чем-то озабоченно каркала, ритмично пригибаясь к ветке. Через мгновение я появился со своей винтовкой. На этот раз птица забыла свою воронью осторожность, видимо, она что-то важное сообщала зелёному миру и продолжала каркать. После шипящего выстрела ворона сразу замолкла, стала переминаться на ветке. Видимо, шок был настолько силён, что улететь она уже не могла. Я выстрелил ещё раз, потом третий, и ворона, тяжело и нескладно цепляясь за ветки, мертвая упала к моим ногам. Это был мой первый скромный трофей.

Вскоре за моё охотничье образование взялся Николай Сергеевич. Он зарядил мне много патронов к Новотны, подарил цилиндр Барклая и экстрактор[31] и предложил пойти пробовать и пристреливать ружье. Мы взяли бумажные листы и пошли к окраине усадьбы, к стройкам около прудов. Как всё это было интересно и завлекательно! Результаты пристрелки оказались очень хороши. «Сэрёженька, — говорил мне Щелкан, упирая на букву «э», —твое ру-

[28] Спижарный Иван Константинович (1857–1924) — хирург, профессор Московского университета.

[29] Маклаков Алексей Николаевич (1837–1895) — профессор Московского университета, офтальмолог, известный в Москве врач.

[30] Патроны малой мощности, не содержащие порохового заряда, — ими можно было стрелять даже дома. Пуля выбрасывалась из ствола одной только силой взрыва колпачка-капсюля, а поэтому обладала начальной скоростью около 120 метров в секунду, как современные «воздушки» в тире.

[31] Цилиндр Барклая — приспособление для снаряжения патронов. Экстрактор предназначен для удаления стреляного патрона из ствола ружья.

жье прэлестно, я бы сам с удовольствием его перекупил!» До сезона охоты, т. е. Петрова дня (29 июня), я занимался стрельбой из «La Francotte»; недостатка патронов не было, их привозил из Москвы Николай Сергеевич, увлекавшийся этим спортом как ребёнок. Вспоминая его теперь, я думаю, что психологический возраст милейшего Николая Сергеевича не превышал тогда 10–12 лет! Мы стреляли по птицам и по мишеням. Помню, как положив подушку на край забора, мы стреляли по мелким мишеням. Между прочим, в расщелину доски втыкали лучину и раскалывали её пулей. Мне удавался этот номер, и Николай Сергеевич с жаром говорил мне: «Сэреженька, из тебя выйдет первоклассный стрелок». В разгаре этого спорта появилась «Элизавета Алексеевна», которая порывистым рывком отобрала у нас незаконно взятую подушку. Николай Сергеевич только весело подмигнул мне. Для меня Щелкан был образцом молодечества и удали. Я подражал ему во всём, вплоть до всех его чудачеств. Почему-то Николай Сергеевич иногда на одну русскую рубашку надевал другую, я сразу усвоил себе эту манеру. Николай Сергеевич ходил порывисто энергичным шагом, особо помахивая руками, я усвоил и это. Не знаю, для того ли, чтобы показать особую удаль, Николай Сергеевич иногда припевал какой-то боевой «кавказский» мотив: «ай-да, тала-ла, лай-да, ай-да!». Немедленно я стал также петь, размахивая руками. Мы катались на велосипедах, и на быстром ходу Николай Сергеевич выхватывал револьвер и начинал стрелять; было весело нестись вперёд под треск сухих выстрелов! У Николая Сергеевича был в то время фокстерьер Биг. Как-то мы бродили в роще около усадьбы; Биг помчался за котом и загнал его на дерево. Мы стали поочередно стрелять в этого кота из винтовки, и после нескольких выстрелов Биг трепал безжизненное тело, свалившееся к подножью дерева. Биг весь искровенился, и мне кажется, что у нас у всех троих проснулись по существу сходные первобытные инстинкты. Дня через два после этого мы сидели с Николаем Сергеевичем на перилах нашего балкона и беспечно, по-мальчишески болтая ногами, разговаривали. «Помнишь, Сэреженька, — сказал Николай Сергеевич, — как мы ловко с тобой тогда кота застрелили». «Что такое, какого кота?» — с неудовольствием спросила мама, входя на балкон. Мне за такие подвиги могло сильно попасть. «А это, Софья Ивановна, я вспоминаю, как мы с братом Васенькой как-то застрелили большого кота», — беззаботно заявил Щелкан.

Николай Сергеевич был моим постоянным защитником. Сидя на верхнем балконе дачи, я слышал такой разговор: «Серёжа становится совершенно невозможен — он зря стреляет различных птиц». — «Просто надо отобрать у него ружья», — сказал папа. «Ах, что вы, профессор, разве можно, — раздается убедительный голос Щелкана, — ведь это же страсть, настоящая страсть!» В это время на вершину ближайшей ёлки села ворона. Ах, противная птица, принесло тебя некстати. Даже стрельнуть теперь нельзя. Соблазн велик, а может попробовать? После выстрела ворона комком упала в траву. «Вот видите, опять этот нелепый малый зря стреляет птиц!» Стрелять ворон в старом парке было у нас с Щелканом одним из любимых спортов. Им мы занимались под вечер в средине июня, когда вороньи семьи устраивались на ночевки в сучьях вековых лип. Мне особенно ярко запомнился один случай. Ворона уселась на верхушке креста высокой колокольни. Ловким выстрелом из «La Francotte» Щелкан сбил эту ворону. Какой это был неподдельный восторг! «Сэреженька, я так взволнован, как после дуплета по тетеревам!»

Как-то мы брели по липовой аллее, навстречу попались дачники, тут же шёл огромный сенбернар, свирепо на нас зарычавший. «Дай мне свою винтовочку», — с небрежным видом сказал Щелкан. Через момент он подошёл к сенбернару и ткнул ею в оскаленную пасть. Собака взревела и бросилась. Николай Сергеевич лихо атаковал рассвирепевшего зверя, действуя винтовкой как пикой. Напор был так силён, что могучий зверь не выдержал и бросился наутёк, поджав хвост. Как было мне не восторгаться такой удалью!

Настал канун Петрова дня. Рано утром мы должны были идти на охоту. Для меня, мальчика, избалованного материнскими заботами, даже такое пустое дело, как раннее вставание, было целым событием. С вечера я заготовил все доспехи: ружьё, патронташ, ягдташ. Ночь спал тревожно и плохо. Встал, оделся и с первыми лучами солнца вышел на крыльцо; через парк пошёл к даче Щелкана. Кажется, я в первый раз понял, как много терял я, вставая относительно поздно. Косые лучи солнца пробивались через листву лип, воздух был наполнен утренней прохладой, откуда-то доносился запах свежего сена, трава серебрилась от густой росы, над лужайкой перед домом с веселым щебетанием носились ласточки-касатки, высоко в воздухе с характерным свистящим криком, который я так любил, мелькали стрижи. Можно было ждать погожий, жаркий летний день. Николай Сергеевич взял на охоту своего старого пойнтера Дружка, бродившего походкой видавшего виды кавалеристского генерала.

Мы ходили много и долго. Дичи под Клином было мало. Стреляли больше дроздов и горлинок. На реке было много чаек. Одна из них налетела на Николая Сергеевича. «Вот тебе!», — и чайка упала на крутой речной берег, снежно-белое перо груди обагрилось кровью. Чайку бросили и пошли дальше. «Зачем он убил её?» — шевельнулось в глубине моей души. «Ну всё равно, на то и охота», — сказал другой голос более успокоительно. Над рекой пролетал куличок-перевозчик; после моего выстрела птичка упала в воду и, помогая себе уцелевшим крылом, стала плыть. Я разделся, достал куличика и старался умертвить, сжимая грудку. Головка птички склонилась на бок, полуоткрытый глаз смотрел страдальчески жалостно. Опять мне стало не по себе. «Ничего, на то и охота!»

«Сэреженька, если хочешь хорошо стрелять, то пали во всех птиц», — говорил Николай Сергеевич. Как-то мы пошли с ним на усадьбу и заставили мальчишек выгонять с чердаков голубей. Птицы метались по двору под звуки наших выстрелов. Битых голубей мы отдали дворне. Среди стрельбища над двором показался пролетавший ворон; он был встречен двумя дуплетами. Птица была тяжело ранена, у нее повисла даже нижняя челюсть. Однако ворон улетел. Через день я нашёл его труп около берёзовой рощи.

Беготня с ружьём, односторонний интерес не могли не отразиться на мне, и притом вряд ли в положительную сторону. Брат Саша в письме к своему другу Пете Живаго писал про меня: «Он за лето заметно поглупел».

Прошла зима 1901 года и наступила весна. В этом году мне и брату Саше пришлось оставаться в Москве довольно долго: я держал экзамены из четвертого в пятый класс, а Саша из шестого в седьмой. В Поливановской гимназии экзамены из этих классов в следующие полагались полные по всем предметам и продолжались до последних чисел мая. Как-нибудь я расскажу особо о гимназическом быте, теперь скажу только, что в ту весну экзамены были как-то особенно томительны: стояла на редкость хорошая, солнечная весна, тянуло за город, но об этом нельзя было и помышлять. Как сейчас помню вечерние испытания, которые иногда затягивались до одиннадцати часов. Широко открытые окна гимназии, тускло горящие керосиновые лампы, общее волнение и возбуждение. Подойдешь к окну, оттуда пахнёт лёгкой свежестью весенней ночи и запахом уже отцветающей сирени из ближайшего сада. Я особенно сильно мечтал об окончании этого волнительного периода ещё потому, что на лето мы собирались ехать в имение нашей доброй знакомой Ольги Викторовны Нахимовой в Сычевский уезд Смоленской губернии. Много рассказов слышал я о «Волочке», расположенном на Днепре, о хорошей охоте, о больших лесах. В университетском отчёте за 1897 год брат Саша прочитал и показал мне сообщение П.П. Сушкина[32] об экскурсиях, совершённых

[32] Сушкин Пётр Петрович (1868–1928) — учёный-зоолог и палеонтолог, академик, ученик Мензбира.

им в Смоленской губернии. Это ещё более увеличило мой интерес к предстоявшей поездке, и я мечтал, что смогу посмотреть птиц, для меня новых и ранее невиданных. Кое-что рассказывал нам и студент, старший сын О.И. Нахимовой, Николай Николаевич, которого все звали «Никс». Это был чрезвычайно толстый, весёлый малый, не лишенный большого комизма, ленивый и беспутный. Никс любил охоту; как раз в этот год он получил в подарок от своего дяди новое двуствольное ружьё и, кроме того, приобрёл на Трубной площади за десять рублей молодую легавую собаку, ещё не натасканную. Открывались широкие горизонты возможных охот. Уже тогда я, прежде всего, мечтал, как добуду некоторых птиц для «коллекции». Меня очень привлекали сизоворонки, в природе я их никогда не видал, а только по музейным чучелам и по рисункам знал об их необыкновенной красоте и яркости окраски.

Наконец настал желанный день: экзамены были сданы, вещи уложены, и мы с поздно отходящим поездом двинулись по Брестской дороге. Наш путь лежал до Вязьмы, откуда была пересадка на станцию Дугино, около которой раскинулось большое имение князей Мещерских, носившее то же наименование. Мы ехали в общем вагоне второго класса. Я забрался на верхний диван, было приятно мерное покачивание на мягких пружинах, но мне не спалось, в голове вертелись беспорядочные мысли, мерещилась новая интересная природа, предстоящие охоты, а тут ещё вдобавок в соседнем отделении шёл громкий разговор двух словоохотливых дам. Они горячо рассказывали друг другу разные страшные случаи краж и грабежей, нередких на железных дорогах. Эти две сороки явно мешали спать. Саша, как мальчик менее энергичный и придирчивый, обратился ко мне с настойчивой просьбой: «Скажи им, чтобы не так громко говорили!» Изогнувшись и сверху глядя на докучливых собеседниц, я громко обратился к ним: «Сударыни!» — «Ай!» — громко взвизгнули дамы. Как раз в этот момент разговор шёл о какой-то особенно дерзкой краже. «Ай, что это? — Сударыни, говорите, пожалуйста, потише, вы нам мешаете спать», — продолжал я. Дамы присмирели, но заснуть я так и не смог.

Рано утром в Вязьме мы пересели на Дугинский поезд. На станции нас встречали высланные лошади и подводы. Мы резво покатились в хорошей, поместительной коляске на тройке откормленных лошадей. Кучер Емельян в бархатной безрукавке, в малиновой рубашке и в округлой шапочке с павлиньими перьями не без удали катил по просохшей весенней дороге. Мелькали луга и рощи, наконец показалась заливная пойма Днепра, мы миновали мельницу, справа показался широкий, подёрнутый листвой белых нимфей пруд, а широкая аллея старых берёз, сделав заворот, привела к въезду в усадьбу. Показался огромный белый барский дом, старинная усадьба Нахимовых. Первые дни прошли как в чаду. Я бегал по большому парку, лазил по кустарникам и по камышовым зарослям пруда, ходил в ближайшие леса. Была поздняя прекрасная весна, самое преддверие лета, ещё пели по утрам и по ночам соловьи, заливались зяблики, в старых липах перекликались иволги. В один из ближайших дней мы целой компанией поехали за пять верст в лесной хутор Нахимовых — Алексеевское, скоро ставшее любимым местом моих экскурсий. Здесь я впервые увидал столь привлекавших моё молодое воображение сизоворонок. От хутора вниз к прудку и широкой болотине вела аллея старых берёз. В дуплах гнездились заветные для меня птицы. «Рак-рак», — раздавались их глухие крики, красавицы перелетали по верхушкам берёз. Отец удивился моему странному энтузиазму. «Да ведь это так же интересно для орнитолога, как фазаны для охотника», — воскликнул я с аффектированным энтузиазмом, невольно подражая моему кумиру Н.С. Щелкану. Я застрелил парочку сизоворонок, из одной сделал шкурку, другая была отослана в Москву Ф.К. Лоренцу[33] (для чучела), но испортилась в дороге. Настал

[33] Лоренц Фёдор Карлович (1842—1909) — учёный-орнитолог, основатель московской школы таксидермии.

сезон охоты. Для моих экскурсий мне предоставили беговые дрожки и откормленную золотисто-палевую лошадку Червончика. В качестве моего постоянного спутника нашёлся сын местного золотых дел мастера, одного из ювелиров фирмы Фаберже. Старый ювелир Лавр Егорович называл своего патрона «Фа́берже» и большую часть лета жил в Волочке в Нахимовской усадьбе. У него было шомпольное ружьё двадцатого калибра фирмы парижского Лепажа[34] с золотой надписью на стволах. «Фа́берже», как в усадьбе называли старика, читал эту надпись — «Лепаж а Парис». Мальчик Шурка, с которым я ездил на охоту, обычно правил Червончиком, а я сидел на дрожках, лихо держа своё ружьецо Новотны. Мы стреляли интересных птиц, казавшихся мне редкими, — зелёных и белоспинных дятлов, мелких хищников, дроздов. Шлёпали по болотам, без собаки выгоняя уток. Я рвался на охоту с Никсом. Однако Никс часто уезжал, иногда далеко, а главное, очень рано утром. В такую «рань», и притом «по росе», мама не решалась меня отпускать, считая мальчиком болезненным и слишком впечатлительным. Я втайне страдал, но терпел эту опеку. Видя мои мучения, мама запросила письмом папу, который уехал вместе с братом Сашей заграницу в немецкий курорт Вильдунген, что со мной делать? Наконец пришло желанное письмо: папа рекомендовал предоставить полную свободу моим охотничьим похождениям в любые утренние часы. То-то я был счастлив! Как-то мы с Никсом поехали в дальний лесной остров, где решено было стрелять барсуков. Из этой затеи ничего не вышло, но вечером в лесу я в первый раз в жизни увидал тягу вальдшнепов. Был самый конец июня. После тёплого дождя настал влажный прекрасный вечер. Протянуло штук шесть-семь вальдшнепов, по которым я неистово и безрезультатно палил. Засыпая после волнительного дня, я всё время видел перед собой этих долгоносиков, добычу, оказавшуюся тогда мне недоступной. В ту же осень, в первых числах сентября, мы с Никсом организовали охоту с гончей по зайцам. Через несколько волнительных минут после начала гона в мелком кустарнике показался беляк. Как приятно мне было видеть его последний неуклюжий прыжок после меткого выстрела. Это был мой первый заяц. С гордостью втащил я его по лестнице Волочковского дома. После охоты я переоделся и голодный пошёл в столовую. С противоположного конца дома, из далеких комнат показался Никс. Мы увидели неожиданное зрелище: наша гончая собака, стоя на столе, с видимым аппетитом доедала последнее блюдо из расставленных для нас...

В это лето я, как мог, старался делать орнитологические наблюдения, искал гнезда, наблюдал птиц в бинокль, как умел — коллектировал.

Приехав в Москву, я решил написать «работу» — «Птицы Смоленской губернии». Долго сидел я над этим произведением, положив перед собой «Птицы России» Мензбира[35] и его «Орнитологическую географию». Свой труд я иллюстрировал акварельными рисунками. Наконец моё произведение было готово. Было Рождество, к нам в гости приехал из Петербурга двоюродный брат Лёва Огнёв вместе с дядей Володей. Лёва был студентом первого курса естественного факультета. В это Рождество нас ждало неожиданное удовольствие. Ассистент моего отца милейший Владимир Гаврилович Руднев предложил нам с братом и Лёве заняться микроскопической техникой под его руководством. Это оказалось страшно увлекательным. Большую часть дня в течение рождественских каникул мы проводили в лаборатории гистологического кабинета. Мы делали препараты крови, шлифы кости, фиксировали опа-

[34] Лепаж (Le Page) — знаменитый оружейник. Пистолеты его марки часто использовались на дуэлях.

[35] Мензбир Михаил Александрович (1855–1935) — зоолог и зоогеограф, профессор и ректор Московского университета, один из основателей школы российской орнитологии.

лин[36], красили гистологические срезы разных органов. У меня была большая податливость и ловкость к тонкой технике, и мои препараты были лучше, чем у моих братьев Саши и Лёвы. Я не преминул этим хвастаться, как задорный мальчишка, а они явно, в особенности Лёва, досадовали. В.Г. Руднев, которому я говорил о своей страсти к орнитологии, советовал мне познакомиться «с Сушкины́м», как он называл этого орнитолога. Но я мечтал о большем; мне хотелось предстать перед очами светила, которое было высшим моим авторитетом, перед автором знаменитых «Птиц России», перед самим Мензбиром! «Зёсь сошел с ума», — говорил Саша, а студент Лёва недоумевал перед моей дерзкой затеей. Однако я не хотел оставить этой сладостной и заманчивой мечты. В один из первых январских дней 1902 года, надев новый костюмчик и положив тетрадки «Птиц Смоленской губернии» в зелёную папку, я, не без внутреннего трепета, отправился к Мензбиру. Шёл сильный снег, и меня запушило его мягкими хлопьями, облепившими и папку с моим произведением. Поднявшись на первый этаж с подъезда в Долгоруковском переулке, я остановился перед дверью, на медной дощечке которой стояло: «М.А. Мензбир». Сердце моё сильно билось, когда я позвонил. Мне открыла дверь горничная. «Могу я видеть Михаила Александровича?» — спросил я слегка дрогнувшим голосом. В это время правая дверь, выходящая в переднюю, отворилась, и передо мной стоял сам Мензбир. Когда я представился и робко рассказал о цели посещения, Михаил Александрович ласково и как-то особенно просто сказал мне: «Ну что же, раздевайтесь, заходите и покажите мне вашу рукопись». Рабочий кабинет у Мензбира был небольшой, в одно окно, боком к окну стоял широкий письменный стол. Мельком взглянув, я увидел свежеисписанную рукопись и чернильницу в виде слона, лежащего на одном боку. По стенам стояли книжные шкафы, в углу на столике лежали, вероятно только что принесённые, красочные репродукции к таблицам «Охотничьих и промысловых птиц», поверх прочих — рисунок мраморного чирка. Мензбир уселся за письменный стол и стал рассматривать мою рукопись. Теперь пропала вся моя робость. Передо мной сидел своеобразный человек, несколько сутулый, в поношенном пиджаке с тонким черным галстуком. Пряди черных волос были зачесаны назад над высоким лбом, чёрная небольшая борода серебрилась легкой проседью, а глаза, прекрасные оживлённые глаза искрились добрым блеском, и всё лицо было так выразительно и значительно. Чувствовалось какое-то чарующее обаяние в личности этого на первый взгляд строгого и сурового человека! Мензбир говорил просто, ясно, значительно, и его слова, словно отчеканенные, западали мне в душу. Он рассказывал мне, как надо собирать птиц, как следует их наблюдать, записывать в дневнике виденное. Он говорил, что никогда нельзя полагаться на определения «на глаз» с биноклем, что во всех сомнительных случаях надо стараться добыть птицу. «Когда у меня является сомнение, что это за вид, я всегда палю», — прибавил он, и при этом его глаза сверкнули каким-то желтоватым диким блеском, в котором была прелесть особого специфического очарования. «Я вижу, — прибавил Михаил Александрович, — что вы очень интересуетесь и хотите работать, и я всячески помогу вам». У меня кружилась голова от счастья, когда я шёл домой: образ Мензбира стоял перед моим мысленным взором, его внушительный чарующий голос! Дома меня встретили и с интересом расспросили о результатах визита. Было предположено, что на следующее лето мы опять поедем в Волочёк. На это раз экзаменов не было, и мы могли выехать значительно ранее, чем в 1901 году.

Весна 1902 года стояла поздняя, холодная; в апреле были заморозки, снег упорно не таял. Только в конце апреля потеплело, снег почти сошёл, но была распутица. Всё же

[36] Опали́ны — одноклеточные паразитические организмы, имеющие множество жгутиков и от 2 до нескольких сотен ядер. Обитают исключительно в кишечнике земноводных и некоторых других животных.

1-го мая мы двинулись в путь. Волочковский парк стоял ещё голый, без листвы, в оврагах лежал снег, шумели весенние ручьи. На следующее утро по приезде ко мне зашёл Нахимовский управляющий Владимир Карлович Гейнрихс и предложил поехать на тягу; я радостно согласился. Вечером мы покатили на беговых дрожках в Алексеевское. Я стоял на знакомой берёзовой опушке, солнце только что зашло, и красные отблески заката золотили верхушки деревьев; кое-где в затенённых местах белели последние грядки мокрого талого снега. После московской суматохи как приятно было вдыхать свежий весенний воздух, слушать несколько меланхолические флейтовые трели дроздов, переливы зябликов, простенькое, словно захлебывающееся пение малиновок. Стало заметно темнее, бледно заблестели первые звезды, а вальдшнепов всё не было. Я не знал ещё тогда, что валовая тяга уже закончилась и что можно было ждать только местных. Неожиданно раздавшееся резкое «циканье», а затем и торопливое «хорканье»[37] заставили меня вздрогнуть, сердце как-то сладко, томительно замерло и забилось. Из-за верхушек ближайших берёз показался вальдшнеп; опустив клюв и продолжая кричать, он летел прямо на меня. Я встретил его выстрелом «в штык», как говорят охотники. Птица, беспомощно сложив крылья, камнем упала почти к моим ногам. Чувство гордости охватило мою душу: это был мой первый вальдшнеп! Увы! В ту весну это был в то же время мой единственный вальдшнеп. Я бывал после этого вечера на многих тягах и стрелял довольно усиленно, но сгоряча все время «мазал». Я страшно волновался, в глазах темнело, дух захватывало, и с досадой, после двух выстрелов, я слышал резкое «циканье» быстро удалявшейся птицы. Сплошь промахивался и мой спутник Гейнрихс, бывший, несомненно, плохим стрелком. Мы ехали домой в редком сумраке весенней ночи, лошадь чмокала копытами по грязи, колёса дрожек мерно постукивали, лужи серебрились при блеске взошедшей луны, на дальнем болоте крякали утки, дрозды уже молчали, слышались чарующие песни соловьев и тягучая трель козодоя. Как сладко дышалось, какая радостная истома разливалась по телу; несмотря на недавние охотничьи неудачи, жизнь казалась такой прекрасной, полной ярких, незабываемых красок! А вальдшнепы... что вальдшнепы; ведь научусь я когда-нибудь их хорошо стрелять!

Рис. 4. 1902 г. Сереже 16 лет

Fig. 4. 1902 Serezha is 16 years old

[37] «Циканье» и «хорканье» — звуки, издаваемые вальдшнепами во время «тяги» — весеннего брачного полёта самцов.

Между тем я продолжал, как умел, ревностно наблюдать птиц; вооружённый цейсовским биноклем, я старался определять различных пернатых, искал гнёзда, записывал виденное в особый дневник. Восьмого мая я впервые увидал удода. Помню, я стоял на окраине парка, в том месте, где высокие деревья, спускаясь по косогору, подходили к урёме[38]. Неожиданно моё внимание привлекла интересная птица. Мелькнув в воздухе плавными взмахами своих широких крыльев, на которых бросались в глаза чёрные и белоснежные полосы, птица села на вершину большой ели. Из-за облака выглянуло солнце, и в золоте лучей птица показалась мне красной; вот поднялся широким веером хохол и раздался глухой покрик: «Уп-уп, уп, уп!» В бинокль я ясно увидал красивого удода. Ещё мгновение — и он уже полетел дальше, снова мелькая пестротой чёрных и белых полос на широких крыльях. Я был взволнован: юго-западный элемент Смоленской фауны; необходимо понаблюдать и добыть интересную птицу! Долго бродил я по окрестным местам, пока не выследил, что привлекший моё внимание пернатый красавец держится в берёзовой роще, прилегающей к скотному двору и выгонам. Вскоре удалось найти и гнездо в дупле старой берёзы. Удоды были очень осторожны, близко не подлетали, и я занялся записями развития, оперения и роста молодых. Когда они покинули гнездо, надо было добыть одну из старых птиц. Не знаю почему, но в этой местности они были очень осторожны. Наконец 28 июня самка удода сделала роковую ошибку: она села от меня шагах в пятидесяти и стала разгуливать по траве в поисках корма. После выстрела я, держа птицу за длинный клюв, вдоволь любовался красотой её пера, а потом дома с самым деловым видом снимал и набивал шкурку. Как живо я всё тогда переживал; после описанного успеха я не мог заснуть всю ночь — мне мерещились птицы, охота, удоды, тщетно ворочался я с боку на бок до самого утра, стараясь забыться.

Среди всех этих увлекательных занятий со мной случилась большая неприятность, помешавшая мне на некоторое время охотиться и снимать шкурки птиц. Четвертого июня после обеда я пошел в переднюю главного подъезда огромного Нахимовского дома, где стояли наши велосипеды, и занялся чисткой своей машины. Для того, чтобы испробовать лёгкость хода, я легкомысленно поставил велосипед на руль и седло и стал с большой скоростью крутить педали; шестерни вертелись, колеса крутились так стремительно, что не видно было спиц. В то время велосипеды делались ещё без свободного хода, и педали крутились в воздухе. Неожиданно велосипед стал падать на бок. Чтобы поддержать его, я протянул правую руку, но её отбило педалью, и ладонью я угодил в большую шестерню. Раздался глухой треск, и движение колес сразу затормозилось. Я понял, что попал в беду. Через мгновение из-под шестерни хлынул поток крови. Свободной левой рукой я старался достать ключ от цепи, но вспомнил, что этот ключ в седле отцовского велосипеда. Я был как в капкане. Между тем на полу образовалась большая лужа, и я понял, что вскоре могу ослабеть от такой потери крови. Что оставалось делать? Я стал кричать: «Помогите!» Жилые комнаты были за многими дверями; после обеда все отдыхали, положение было отчаянное. Наконец я услышал торопливые шаги, крикнул ещё раз и услышал, что по лестнице торопливо сбегал мой отец. «Папа, ключ в седле твоего велосипеда!» От волнения у папы тряслись руки, и он никак не мог попасть в прорези цепи. Левой рукой я взял у него ключ и отстегнул цепь, кровь хлынула ещё сильнее. Оказалось, что верхняя часть кисти была обнажена от мышц настолько, что были видны кости и сухожилия, а широкий лоскут кожи и мышц свернулся в трубку и отворотился назад. Через полчаса мы с отцом уже мчались на тройке хороших резвых лошадей в земскую больницу, где мне промыли рану и наложили швы. В тот же день послали телеграмму в Дугино Н.С. Щелкану (по дошедшим слухам, он гостил тогда у князей Мещерских). Как потом оказалось, Щелкан

[38] Урёма — густые заросли в заболоченной речной пойме.

приехал к Мещерским только через несколько дней и немедленно выехал в Волочёк. Вечером во время прогулки по большой дороге мы увидели быстро кативший тарантас на тройке лошадей. В экипаже с обычным лихо-беспечным видом сидел Николай Сергеевич. Между коленями он держал ружьё в кожаном чехле. Осмотрев рану и дав необходимые указания и советы, Николай Сергеевич заметил: «Сэрёженька всё делает основательно, а мне сказали в земской больнице, что рана пустяковая, я не поверил!» Николай Сергеевич прогостил у нас несколько дней, и я с восхищением рассматривал щегольское ружьецо двадцатого калибра, подаренное ему Мещерскими; на ложе красовалась золотая дощечка с надписью.

Среди летних охотничьих и стрелковых развлечений могу рассказать ещё об организации в Волочке призового стрельбища. На крайнем правом крыле большого Волочковского дома около оранжерей помещалась сыроварня, организованная немцем-швейцарцем господином Стетлером. Это был плотный высокий человек, голубоглазый, рыжий, в веснушках. В своей сыроварне он щеголял в снежно-белом халате с засученными рукавами; его мускулистые руки с богатой порослью рыжих волос были испещрены веснушками. Манеры господина Стетлера были плавные, мягкие, тон речи изысканно-любезным. Говоря с владельцами имения, он всё время прибавлял: «Herr von Nachimov», меня он именовал «Herr von Ognev». Около Стетлера вертелись и помогали несколько молодых немцев и немок, вероятно членов его семьи. Сыр, изготовлявшийся на этой сыроварне, был очень хороший «русско-швейцарский» и «швейцарский»; мы часто покупали его к столу. Стетлер был страстным охотником и любителем стрельбы пулей. В это лето он явился инициатором и организатором стрелкового состязания «Schützentest». На окраине усадьбы был устроен тир, мишени, павильон для жюри, столы для угощений и закусок. Ко дню, назначенному для тира, съехались откуда-то взявшиеся немцы, также сыровары, причём некоторые из них нарядились в швейцарские костюмы и в охотничьи шапочки с пером на одном боку. Как раз в это время у нас гостил одноклассник брата Саши — Петя Живаго[39]. Пете было лет восемнадцать, он любил похвастать, был большим фантазером и сам часто наивно верил своим вымыслам. В то время он вообразил себя прекрасным стрелком пулей. Никс Нахимов решил представить Стетлеру этого вновь явленного Freischütz'a[40] в качестве сильного конкурента по мастерству стрельбы. Нам вышел навстречу Стетлер. «Freiherr von Schiwago»[41], — важно сказал Никс. Почтительно изогнувшись, Стетлер изрек: «Ich empfehle mich Herr Baron»[42]. Далее пошёл разговор об условиях состязания. Никс и Петя предлагали стрелять всем из одного ружья (для уравнения шансов на успех). Немцы были очень склонны стрелять из своих привычных винтовок. Победу в этом любезно-почтительном споре одержал, конечно, Никс, как знатный «gufobesitzer»[43]. Немцы, скрепя сердце, согласились. Решили стрелять из старой турецкой магазинной винтовки модели Пибоди-Мартини 1877–1878 гг. Это была нескладная тяжёлая винтовка, из которой мы для пробы стреляли по мишеням накануне вечером. На тир собралась вся усадьба. Интересно было посмотреть на павильон, украшенный флажками, на немцев в их оригинальных костюмах, на «махальных», стоявших вдалеке по обеим сторонам мишеней и следивших, чтобы какой-нибудь случайный путник не подвернулся под пули. Были заранее приготовлены заказанные Лавру Егоровичу призовые жетоны: большой золотой — первый приз, второй приз — серебряный с золотом, и относительно скромный золотой — третий приз. Были

[39] Теперь известный профессор гистологии (прим. С.И. Огнёва).

[40] Вольный стрелок.

[41] «Барон Живаго».

[42] «Я рекомендую себя господину барону».

[43] Землевладелец.

водружены мишени: «glück» — пробная и «kunst»[44] — для окончательной призовой стрельбы. Немцы волновались и, по-видимому, были очень недовольны, что приходится стрелять из нелепой и непристреленной турецкой винтовки. Петя Живаго старался до конца играть роль стрелкового маэстро, благо он сам наивно верил в своё искусство. Состязание началось. Немцы стреляли плохо, волновались, злились, промахивались. Мой отец под общие аплодисменты посадил несколько пуль в мишень «kunst». Мне была непривычна и тяжела нескладная винтовка, но и я попал несколько раз по мишеням. Моему «Санчо-Панчо», как его звали, Шурке, тоже дали стрелять, причём кто-то внёс полагавшиеся пятьдесят копеек. Шурка стрелял несколько раз, и когда махальные отметили успешный выстрел, радостно закричал «пупадено!» К сожалению «пупадено» было только один раз. Наконец выступил «маэстро» Петя Живаго. Ему никак не удавалось попасть в словно заколдованную мишень «kunst». Случилось даже так, что, стреляя в «kunst», он попал в «glück». Посрамление получилось полное. «Der So gennaute Baron»[45], как иронически сказал Стетлер[46], потерпел фиаско. Первый приз взял приезжий студент, ни разу до этого не стрелявший из винтовки; от второго приза отказался мой отец; я не помню, кто стал счастливым обладателем этого приза, а я получил, неожиданно для себя, третий приз. После стенда мы с Петей поехали на хутор Алексеевское. Сидя спереди на беговых дрожках, я правил резво бежавшим Червончиком. «У меня было что-то неладное с сердцем», — говорил мне Петя: надо было ведь найти подходящее объяснение неожиданной катастрофе.

Лето 1902 года, в противоположность предшествующему, было сырое, дождливое. Несмотря на это, я ходил на охоту каждый день, надев кожаную курточку. Я старался собирать как можно больше птиц и, как мог, записывал все свои наблюдения. Стрелять я стал очень неплохо и делал даже красивые дуплеты[47]. Осенью в Волочек приехали гостить Тимофеевы, родственники Нахимовых[48]. Александр Викторович[49] был уже тогда лейб-медиком, с ним приехала Мария Сергеевна с дочкой Таней и сыном Володей. В один из первых дней их пребывания я вернулся вечером с удачной охоты, застрелив двух крякв в болотистой концевой части Волочковского пруда. Перед ужином мы разговаривали в передней, я сидел на подоконнике, Володя Тимофеев что-то расспрашивал об охоте, а Таня стояла, облокотившись на моё колено и тоже оживленно со мной говорила. Таня не была красивой девочкой, но в ней было много женственности, веселья, живого ума, её голубые глаза лучисто блестели, смех был заразителен. В этой девочке был особый «шарм», она невольно заставляла собой любоваться. Слушая и разговаривая с ней, я вдруг невольно подумал, совершенно неожиданно для себя самого: «вот Таня будет моей женой». Я не мог подозревать тогда, что в моей жизни Таня в дальнейшем займет весьма заметное место и сыграет большую роль…

Быстро промелькнуло лето, подошла осень и надо было ехать в Москву. Я пошёл к М.А. Мензбиру показать собранные коллекции. Я разложил в его кабинете шкурки птиц; Михаил Александрович посмотрел всю добычу и проверил мои определения. Он обещал

---

[44] *Glück* — «удача», *kunst* — «мастерство».

[45] «Так называемый барон».

[46] Стетлер на каждом шагу называл Петра «Herr Baron». Это вызывало улыбку и смех, и Никс предупредил Стетлера, что барон не любит, чтобы его так величали. Стетлер, видимо, понял, что над ним пошутили (прим. С.И. Огнёва).

[47] Дуплет в охоте — выстрел из двух стволов двустволки с небольшим промежутком.

[48] О.В. Нахимова была урождённая Тимофеева (прим. С.И. Огнёва).

[49] Тимофеев Александр Викторович (1861–1925) — русский психиатр, доктор медицины, почётный лейб-медик, тайный советник.

познакомить меня с П.П. Сушкиным, о котором я так много слышал и работами которого, особенно «Птицами Уфимской губернии», зачитывался. В это время я стал много читать орнитологических работ, а также изучать университетские учебники, главным образом книгу Бобрецкого. У нас с братом Сашей было одно любимое удовольствие. В то время профессоры могли выписывать к себе на квартиру любые книги из университетской библиотеки. Главным библиотекарем и заведующим университетским книгохранилищем был тогда Дмитрий Дмитриевич Языков[50], большой чудак, когда-то дававший моей матери, когда она была девушкой, уроки русской словесности. Дмитрий Дмитриевич с великим почтением относился к моим родителям. Как-то мама пошла, по его приглашению, посмотреть тогда только отстроенную библиотеку. Языков водил её по книгохранилищу, очень громко и отчётливо разговаривал, словно отчеканивал каждую фразу. Когда мама выразила интерес к какому-то русскому художественному произведению, Дмитрий Дмитриевич громко возопил в присутствии своих помощников, его сопровождавших: «Я очень счастлив, я очень счастлив, что вы сохранили интерес к русской литературе!» Мы с братом стали широко пользоваться представившейся возможностью. Мы писали требование на интересовавшую нас книгу, прислуга относила записку в библиотеку, и через полчаса служители библиотеки уже тащили к нам на квартиру объёмистые тома. Дома мы наслаждались просмотром таких роскошных изданий, как книги знаменитого Гульда (Gould) «Birds of Great Britain» или «Birds of Asia», выписывали журналы «The Ibis», «Journal für Ornitologie», «Aquila»[51] и другие, а также многие капитальные русские сочинения: «Птицы, звери и гады чернозёмной полосы Среднего Поволжья» М.Н. Богданова[52], «Русская фауна, млекопитающие» Ю. Симашко[53], «Ornitologie du Turkestan» Мензбира и многие другие. Мы любили, когда зимой наступали сильные морозы: в гимназию нас не пускали, и можно было дома вдоволь наслаждаться созерцанием и просмотром книг. Я задался целью регулярно знакомиться с последующими томами таких журналов, как «The Ibis» и «Journal für Ornitologie», отмечая и выписывая наиболее для меня интересные данные. Я много читал тогда, в том числе и многочисленные тома старого издания Науманна «Der vögel Deutschlands»[54]. Из замечательных книг Гульда я копировал акварелью некоторые таблицы.

Что касается университетских учебников, то я их конспектировал и делал зарисовки вскрытых животных конечно только по таблицам и рисункам руководств. Как я теперь вспоминаю, даже такое чисто теоретическое изучение предмета было очень полезно. Когда я попал в университет и был только на первом курсе, я уже очень хорошо знал почти всю современную русскую и иностранную орнитологическую литературу.

Настал, наконец, знаменательный день моего знакомства с П.П. Сушкиным. Я зашел к М.А. Мензбиру, и мы из его квартиры поднялись на третий этаж, в лабораторию Института сравнительной анатомии, в комнату Сушкина. Передо мной был ещё молодой, плотный и даже несколько полный рыжий блондин с небольшой бородкой и светлыми глазами, нео-

[50] Языков Дмитрий Дмитриевич (1850–1918) — библиограф и историк литературы.

[51] Aquila («Орёл») — орнитологический журнал, основанный Отто Херманом, Будапешт, Венгрия, в 1894 г.

[52] Богданов Модест Николаевич (1841–1888) — русский зоолог и путешественник.

[53] Симашко Юлиан Иванович (1821–1893) — писатель, педагог, зоолог, общественный деятель. Действительный статский советник, почётный член Российского минералогического общества.

[54] Науманн Иоганн Фридрих (1780–1857) — немецкий орнитолог, автор фундаментального труда «Птицы Германии».

быкновенно живыми, очень внимательно смотревшими на собеседника, словно изучавшими его и неожиданно загоравшимися каким-то привлекательным, весёлым блеском. Голос у Петра Петровича был высокий, звонкий, с очень характерными интонациями и некоторым подчеркнутым растягиванием отдельных фраз. Петр Петрович стал расспрашивать меня о моих интересах и работах, показывал некоторых птиц своей коллекции; на артистически сделанные шкурки я смотрел с нескрываемым восхищением. Когда я сказал, что очень хотел бы и мечтал поехать для сбора птиц на Зауральские озёра, так увлекательно описанные Л.П. Сабанеевым[55], Петр Петрович пришёл в великое удовольствие и с какой-то особой экспрессией заявил вошедшему в комнату Мензбиру: «Серёжа меня как рублём подарил!» Я был счастлив моими «знатными» знакомствами с зоологическими светилами. Я мечтал о воскресеньях, когда П.П. Сушкин иногда приглашал меня приходить посмотреть «птичек».

Так прошла часть зимы и наступило Рождество. На каникулах я твердо решил целиком заняться писанием работы «Материалы к познанию орнитологической фауны Смоленской губернии». С видом фанатика сидел я целыми днями со своими коллекциями, дневниками и книгами и, действительно, на Рождество написал свой научный труд. Я ходил к Михаилу Александровичу, показывал ему отрывки отдельных очерков; он их одобрил, и я продолжал своё дело, которое меня так захватило. Когда рукопись была окончена, я передал её Мензбиру. Месяца через два Мензбир, встретив моего отца на совете профессоров, просил передать мне, что заветная рукопись будет напечатана в изданиях Общества Испытателей Природы. Как я был горд и счастлив! Наступила ранняя, погожая весна 1903 года. Как-то в марте месяце Петр Петрович Сушкин предложил мне ехать вместе с ним в Царицыно стрелять сапсанов. Экскурсия была намечена на 25, в Благовещение. Накануне был серый дождливый, но тёплый день. Я очень волновался, как бы дождь не сорвал нам всей затеи. Рано проснулся я в то утро и, приподняв штору, взглянул на университетский двор. Яркое весеннее солнце блестящими отблесками искрилось во вчерашних лужах, по голубому небу пробегали редкие светлые облачка. Я быстро оделся и пошел к Сушкину. Он жил в меблированных комнатах Фальц-Фейна на углу Тверской и Газетного переулка.

Я застал Петра Петровича за стаканом утреннего чая в его скромной, небольшой комнате, выходившей в общий длинный полутемный коридор. Мы быстро собрались и поехали на Курский вокзал. В Царицыне мы пошли к лесничему, заведующему Царицынским удельным имением. Он жил где-то близ окраины парка в очень хорошем комфортабельном доме. Лесничий встретил нас любезно, он был знаком с Петром Петровичем, разрешил охотиться, но предупредил, чтобы мы не трогали сапсанов. Мы вынули ружья и пошли в парк. «Что же мы теперь будем делать с сапсанами?» — спросил я. «Ничего, как-нибудь обойдется», — беспечно ответил Петр Петрович. Долго бродили мы по парку; стояло чудное весеннее утро, деревья были ещё голые, только немного покраснели ветви берёз и пробивались серебристые почки на ивняке, снег почти весь сошел, только кое-где в канавах белели его узкие полоски; радостно и звонко пели зяблики и выводили свои флейтовые трели дрозды. Пахло прелой листвой, оттаявшей землёй, на солнцепеках уже пробивалась первая зелень. Как всегда после города, очутившись в весеннем лесу, я испытывал какое-то острое наслаждение; я особенно любил и люблю начало пробуждения природы, когда ещё зелено-желтый пух не одевает влажных древесных ветвей. Сапсанов не было видно и слышно. Мы вышли на косогор и полянку, присели на лавочке. Солнце пригревало; сверкая желтизной крыльев, над лугом

[55] Сабанеев Леонид Павлович (1844–1898) — русский зоолог, натуралист, популяризатор и организатор охотничьего и рыболовного дела, издатель естественноисторического сборника «Природа», журнала «Природа и охота», «Охотничьей газеты».

порхала крушинница[56]. Вдруг прозрачный воздух словно прорезал громкий, продолжительный крик хищной птицы. Петр Петрович вздрогнул, лицо его стало серьезным, напряженным: «Сапсаны, идёмте за мной!» Мы стали очень осторожно и тихо подходить; крики повторялись. Вот уже мы близко; вижу, как Петр Петрович подымает ружье, на одном из сучьев высокой сосны маячит силуэт крупной птицы, белеет её грудь, сереет спина. Резкий, громкий выстрел — и птица тяжело падает на землю. В этот момент издалека проносится другой сокол, мы стреляем оба не в меру, и сапсан исчезает за лесом. Через короткий срок мы снова на скамейке и радостно рассматриваем красивую мощную самку сапсана. Петр Петрович отсасывает ртом кровь, показавшуюся на груди птицы, сплевывает и снова отсасывает. Я смотрю с восхищением и на сокола, и на стрелка. «Покажите мне ваше ружьё!» «А, теперь заинтересовались ружьем», — с усмешкой говорит Сушкин. Я рассматриваю довольно поношенную, недорогую двустволку Франкотта и красавца сокола.

Лесничий с некоторой досадой увидал принесённого сапсана. Петр Петрович успокоил старика, сказав, что сокол не из гнездящейся парочки. «Почему вы это думаете?» — спросил лесничий. «Смотрите, нет наседного пятна», — и Петр Петрович подул на перья паховой области. Лесничий словно поуспокоился. «У сокола и не могло быть теперь наседного пятна, — тихо сказал мне Петр Петрович, — самка ещё не начала насиживать». Хорошо пообедав у нашего хозяина, мы отбыли в Москву. По дороге с увлечением говорили о птицах, о зоологии.

Через день, во вторник, Петр Петрович вместе с Н. К. Кольцовым[57] были в гостях у моих родителей. Петр Петрович, рассказывая о нашей поездке, заметил: «Мы с Серёжей сидели рядом на лавке, между нами лежал сапсан, а мы любовались на него, словно два Рафаэлевских херувима».

Я писал уже ранее, что в те далёкие времена моей мечтой было поехать на Зауральские озёра для сбора птиц. На границе Челябинского и Шадринского уездов находилась колония, организованная для обучения сельскому хозяйству башкирских детей. Колонию основала моя тетка Елена Григорьевна Огнёва, двоюродная сестра моего отца. Колония возникла, насколько я помню, в начале 90-х годов, когда Елена Григорьевна в голодные годы наладила в степной Башкирии помощь голодающим, на это получала субсидии от правительства. Позднее у Елены Григорьевны явилась мысль обоснования образцовой сельскохозяйственной школы и опытного хозяйства. Она получила средства и казённые земли благодаря помощи великой княгини Елизаветы Федоровны, человека очень доброго и отзывчивого. Первоначально у Елены Григорьевны дело шло довольно бестолково; в дальнейшем, благодаря накоплению некоторого практического опыта, а главным образом — самоотверженной помощи её племянника и моего двоюродного брата Лёвы Огнёва, колония превратилась в настоящее образцовое опытное хозяйство с хорошей постановкой учебно-преподавательского руководства. И тётка, и племянник были в полном смысле бессребреники и идейные Külturträger'ы[58], как шуточно называл их мой дядя Владимир Флорович, отец Лёвы.

Несмотря на то, что я рвался ехать в Пермскую губернию изучать орнитофауну Зауральских озёр, родители меня туда не пустили. Они, особенно мама, считали, что я слаб

---

[56] Крушинница, или лимóнница (лат. *Gonepteryx rhamni*) — дневная бабочка из семейства белянок.

[57] Кольцов Николай Константинович (1872–1940) — выдающийся отечественный биолог, основатель многих научных направлений, определивших облик экспериментальной биологии в первой половине XX в.

[58] Культуртрегер (нем. *Kulturträger* букв. — «носитель культуры») — педагог, просветитель, цивилизатор, миссионер.

здоровьем, и боялись пустить одного без присмотра. Как я теперь могу судить, это была большая ошибка. Сильный и страстный интерес к науке, который у меня тогда проявился, надо было непременно всемерно поощрять. У юноши такие стремления очень хороши, так как отвлекают от многого другого, к чему могла бы обратиться натура, сильно увлекающаяся. А именно большие, захватывающие увлечения были в то время свойствами моего характера. Мне было горько в душе, что родители остались глухи и как-то обошли прямые разговоры о поездке, о которой я так мечтал. В свою очередь, у меня было много деликатности, и я никогда не настаивал на своих желаниях в тех случаях, где ясно видел полную материальную зависимость от чужой воли.

Вместо Зауральских озёр, предмета моих мечтаний, я, после экзаменов из шестого в седьмой класс гимназии, поехал на дачу в Малоярославецкий уезд Калужской губернии, где мои родители сняли на лето дом у князя Оболенского в его имении Спас-Загорье. Это была красивая усадьба со старым липовым парком, с полноводной, быстрой рекой Протвой под обрывистым склоном. В первый вечер по приезде я обнаружил, что в больших липах и дубах перекликается выводок сов-неясытей, а из парка на поляну перед домом вылетают и делают быстрые воздушные круги крупные рыжие вечерницы[59]. Рано поутру пели многочисленные соловьи. Место было привольное, красивое. Мое сердце орнитолога радостно забилось, когда на реке я увидел зимородков, которых ранее не наблюдал, и куликов-галстучников.

Я занялся коллекционированием некоторых птиц: застрелил нескольких сов, добыл зимородка, галстучника. Всё это были новости для моей небольшой коллекции. У меня нашёлся верный спутник. Мама взяла на лето мальчика лет восемнадцати — Сашу Мурашкина. Этого мальчика, не знаю, по чьей рекомендации, мама в течение нескольких лет брала из приюта на дом. Мальчика кормили, одевали. Это происходило на праздниках; затем Саша возвращался восвояси, где обучался ремеслу. В 1903 году этот мальчик поступил наборщиком в типографию, а на лето приехал к нам на отдых и поправку. Саня Мурашкин, как верный «Личарда», бегал за мной, подбирал стреляных птиц, восторгался моими действиями и проявлял большую преданность.

Всё было бы хорошо в Спасе-Загорье, если бы не сам сиятельный князь Оболенский. Он оказался удивительным мерзавцем и циником, поставившим своей целью мелкими гадостями и неприятностями, которые он делал, заставить нас скорее уехать и освободить дом, который он нам сдал на лето. Картежный проигрыш заставил его отдать в найм главный дом в усадьбе. Теперь почтенный князь не мог простить себе этой глупой ошибки.

Несмотря на все эти мелкие неудовольствия, мы жили неплохо. Особенно полюбились мне прекрасные леса поймы реки Протвы на противоположной стороне реки от усадьбы. Я часто ездил туда на велосипеде. В это лето я, помимо птиц, очень ревностно собирал бабочек. Подражая Сушкину, я стал собирать большие серии. Мне удалось наловить много махаонов, апатур[60], перламутровок. Среди махаонов наметились интересные вариации окрасок, и некоторые из этих бабочек оказались очень похожими на среднеазиатских представителей. Тогда же впервые мне пришлось наблюдать несколько экземпляров *Neptis aceris*[61], бабочки, которой я прежде не встречал; их поимка доставила мне много удовольствия.

---

[59] Рыжая вечерница (*Nyctalus noctula*) — одна из крупных широко распространённых летучих мышей.

[60] Переливницы **(**лат. *Apatura***)** — род дневных бабочек из семейства нимфалид.

[61] Пеструшка темнокрылая, или пеструшка Сапфо — дневная бабочка из семейства нимфалид.

Летом к пятому июля я написал поздравительное именное письмо дяде Серёже, брату моей матери. В письме я хвастливо описывал свои орнитологические достижения и бросил довольно небрежную фразу: «Многие не понимают важности и интереса изучения орнитофауны и даже протестуют, когда собирают серии мелких птиц». Делая это безличное выступление, я отчасти имел в виду собственного отца, который иногда сетовал, зачем я стреляю так много птичек, и что я мог бы заняться чем-либо более подходящим, хотя бы их фотографированием. Как оказалось, моё «поздравительное» письмо сильно задело дядю Серёжу. К большому сожалению, у меня теперь не сохранился его ответ. Дядя решил, что я зазнался и хвастаюсь своими научными успехами. Он ставил мне в пример моего отца, большого учёного, но человека очень скромного, он писал, что мой брат Саша без фейерверков и ракет достиг «значительных положений» и т. д. Письмо дяди подействовало на меня как ушат холодной воды и было, по существу, очень полезно. Не могу сказать, чтобы в то время я сильно зазнался, но, безусловно, мечтал о научной славе и об успехах в области науки. Такие мечтания, когда ещё ничего не достигнуто, конечно, вредны, наивны и ведут на путь пустого бахвальства. Я был, несомненно, смущён и досадовал на развязный тон своего послания.

Лето подходило к концу. Мой отец уехал в Грецию с экскурсией профессоров и студентов Московского университета. Эта экскурсия, в которой приняло участие около ста пятидесяти человек, была организована профессором князем С.Н. Трубецким[62]. Из профессоров, кроме моего отца, участвовали Л.М. Лопатин[63], Б.К. Млодзеевский[64], Н.В. Давыдов[65] и многие другие. Брат Саша отбыл в Орловскую губернию в имение дяди Серёжи; мама на несколько дней выехала в Москву по каким-то делам. Я жил с родными моего отца: с бабушкой Натальей Федоровной и с тетей Анютой. Кроме того, с нами был мой младший брат Володя, тогда маленький мальчик; при нём находилась его гувернантка Гертруда Павловна Ланц.

Двадцать девятого июля наша спокойная жизнь была нарушена неожиданным трагичным происшествием. Вечером, перед заходом солнца, мы пошли с тетей Анютой погулять вдоль Протвы. Мы миновали купальню, и когда удалились шагов на четыреста, то увидали, что в купальню вошли несколько женщин. Мы подались вдоль реки ещё дальше и стали любоваться видом извилистой быстрой Протвы. Посмотрев в сторону купальни, я увидел странную картину, показавшуюся мне подозрительной: на воде, как раз там, где был омут и быстрина, то показывалась, то исчезала чья-то голова, затем из купальни появилась какая-то фигура, хорошо видная на мелком месте перед омутом, вскоре и она исчезла в глубине. Через несколько мгновений головы виднелись на воде, опять исчезали, и, наконец, более не показывались. «Там кто-то тонет», — и я побежал назад к дому. Когда я поравнялся с купальней, мне сразу бросились в глаза наша кухарка и горничные, которые выли, причитали и плакали. «Что случилось?» В ответ я услышал усиленный плач и причитания. «Да скажите, что случилось!?» — «Саня утонул!» Как потом оказалось, две девушки, знакомые доктора Гольдингера, жившего с семьёй на даче князя Оболенского, пошли купаться. Одна из девушек хвасталась своим умением плавать. Она вышла из ку-

---

[62] Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905) — русский религиозный философ, публицист и общественный деятель, профессор и ректор Московского университета.

[63] Лопатин Лев Михайлович — русский философ-идеалист и психолог, профессор Московского университета.

[64] Млодзиевский Болеслав Корнелиевич (1858–1923) — математик, профессор Московского университета.

[65] Давыдов Николай Васильевич (1848–1920) — юрист и общественный деятель, профессор Московского университета.

пальни, прошла по мелководью и поплыла вправо, где был глубокий омут. Течение там было очень быстрое, и девушка никак не могла обратно достигнуть мелкого места. Она испугалась, выбилась из сил, стала звать на помощь и несколько раз совершенно погружалась в воду. На крики о помощи прибежал Саня Мурашкин. Он не умел плавать и решил помочь девушке, протянув ей длинную доску. На несчастье Саня сорвался с отмели, которая резким обрывом переходила в омут, и стал сам тонуть. Девушку сильным течением унесло и прибило к берегу, а Саня исчез в пучине. Оболенский, как мне передавали после, с циничной усмешкой сказал: «На этом месте тонут каждый год». Несмотря на это «почтенный» владелец Спаса-Загорья в 1903 году опять водрузил купальню на таком, по существу, предательском месте.

Я бросился в купальню, быстро разделся и выскочил на отмель. Передо мной был зловещий омут. Вода была спокойна и темнела в наступающих сумерках. Было жутко от сознания, что вот здесь только что погиб человек, которого я так хорошо знал. Я бросился в омут и стал нырять, надеясь обнаружить тело. К несчастью, я не умел нырять с открытыми глазами, течение сильно относило меня. Много раз я нащупывал дно, но ничего не мог найти. Наконец, я совершенно выбился из сил. Вместе со мной бесплодно трудился прибежавший сельский учитель Пётр Николаевич Покровский. Подъехала лодка с баграми. Я вышел на берег. «Погиб, погиб, а я не мог его спасти», — словно стучало у меня в голове. В стороне на берегу стояла скрюченная фигура обнаженной девушки, безутешно рыдавшей. Сбежалось очень много людей. Все метались по берегу, давали ненужные советы, махали руками, что-то кричали лодочникам, работавшим шестами и баграми. Неожиданно прибежал какой-то студент, оказавшийся прекрасным пловцом. Он сильно и смело стал нырять. Прошло несколько томительных минут. Студент появился на воде, держа за руку утопленника. Через минуту доктор Гольдингер распоряжался откачиванием и искусственным дыханием. Увы, всё было напрасно. Как оказалось потом, Саня погиб от разрыва сердца. Стало темно, наступил мрачный осенний вечер. Женщины плакали, тело отнесли к нам в дом. В тот же вечер в Москву послали телеграмму, текст которой, очень неудачный, предложила тётя Анюта: «Саня скоропостижно скончался, приезжай». Получив телеграмму, мама немедленно закупила некоторые вещи для похорон и собралась ехать. Неожиданно её осенила жуткая мысль: «Почему мог скоропостижно скончаться здоровый мальчик? Наверное произошел несчастный случай на охоте, и Серёжа застрелил Саню». Я выехал на станцию встретить маму и был поражён её страшным волнением. Как мне потом говорила мама, она смотрела из окна вагона, надеялась издали увидать меня, она была уверена, что если я лично встречу её, то, конечно, не я виновник смерти несчастного мальчика.

Саню хоронила вся усадьба; гроб провожали все дачники. Между прочим, на одной из дач жила очень хорошенькая молодая девушка. Я её заметил уже давно, довольно часто встречал, но по крайней своей застенчивости не решался с ней заговорить. У меня была странная черта: если мне сильно нравилась девушка, я не решался к ней подойти, заговорить, постараться понравиться, я терялся и робел, я мог показаться просто невежливым и смешным. Всему виной была досадная застенчивость, доходившая до болезненности, которая была крайне тяжела для меня самого. Саня знал, что девушка мне очень приглянулась, и в шутку несколько раз желал мне увидеть её во сне. Мы спали в верхнем этаже дома, и комната Сани была смежной с моей.

На другой день после катастрофы доктор В.Н. Гольдингер рассказывал мне, что его позвали как раз к этой девушке, с которой сделался припадок истерики: картина самоотверженной гибели несчастного мальчика произвела на неё огромное впечатление. Через несколько дней на его могиле я среди цветов нашел свежий букет и надпись на могильном камне «Нет

большей добродетели, как жизнь свою положить за ближнего». Я сразу понял, кто сделал эту надпись!

Через день после похорон ко мне зашёл мой новый знакомый — сельский учитель Пётр Николаевич и предложил пойти с ним на охоту. Мы отправились на болото вёрст за шесть. По дороге Пётр Николаевич долго и пространно рассказывал мне о своих охотничьих успехах и о стрельбе и, как все охотники, страшно хвастался. Собаки у нас не было, и мы забрались в болото, рассчитывая стрелять шумовых птиц. В большом количестве стали подыматься бекасы. Без промаха я застрелил подряд пять бекасов, коростеля, погоныша и утку. Я сам был несколько удивлён такой удаче. Когда я вышел из болота и проходил мелколесьем, поднялись тетерева; после выстрела одна птица грузно упала в траву. Словом, я показал такой «класс стрельбы», что совершенно уничтожил своего спутника, мазавшего немилосердно. Стало вечереть, когда мы окончили охоту. Около реки на фоне вечерней зари с характерными отрывистыми взмахами острых крыльев показался темный силуэт козодоя. Пётр Николаевич выстрелил, и козодой комочком упал под откос. «И я умею иногда попадать!» — с искренней досадой сказал мой злополучный компаньон.

Чтобы я несколько отвлекся от тяжёлых переживаний и недавних волнений, мама посоветовала мне поехать к дяде Серёже в его Орловское имение Ивановское, где в то время уже гостил мой старший брат Саша.

В Ивановском мы всей семьёй живали в прежние годы; последнее лето мы проводили там в 1898 году. Тогда я был ещё ребёнком, теперь, в 1903 году, я уже перешёл в седьмой класс гимназии и серьёзно считал себя человеком взрослым и почти научным работником. Я выехал из Москвы пятого августа.

Я хорошо помнил и любил Ивановское с его огромным старым садом и большим прудом. Мне было известно, что дядя Серёжа заново перестроил старый дом, и невольно очень захотелось посмотреть его — старое гнездо Киреевских. Поезд прибыл на станцию Поныри рано утром шестого августа. Как хорошо я помню большое станционное серое каменное строение с крытым дебаркадером. У подъезда станции я увидел высланную за мной пролетку с тройкой сытых крупных лошадей и с кучером Игнатом на козлах. В имение надо было ехать через маленький уездный городок Малоархангельск. Игнат лихо подкатил к подъезду дома, где жила моя бабушка Лидия Александровна Потёмкина (родная сестра Юлии Александровны Киреевской, урождённой Потёмкиной, матери моей мамы). Я прошёл через переднюю и хотел войти в гостиную, где восседала на кресле Лидия Александровна. К моему большому удивлению, в ответ на моё приветствие, я услыхал отчеканенную холодную фразу: «Сергей, я принять тебя не могу!» В большом удивлении и некотором смущении я прошёл через переднюю обратно к экипажу. В этот момент из гостиной Лидии Александровны выскочили мои дяди Саша и Борис Потёмкины, стали радостно обнимать и целовать меня и пригласили немедленно идти в дом Рагозиных. Моей тетки Ольги Ивановны Рагозиной (родной сестры моей матери) и её мужа Николая Николаевича не было дома, они жили в то время в своём имении.

Когда мы втроём явились в пустой дом, нас встретила прислуга. По обычаю гостеприимного Рагозинского дома нам немедленно дали целый обед с множеством холодных закусок, вина и домашних наливок. Мы весело и хорошо провели время. Холодный и суровый прием Лидии Александровны, как я узнал позднее, был вызван причиной нелепой и несправедливой. Лидия Александровна была старая дева, неудачница, взбалмошная, с дурным характером. Как истая провинциалка, она была склонна к сплетням и всяким наговорам. Своей демонстрацией она хотела насолить моей матери. Дело в том, что в Москве, в небольшой квартире жила родная сестра Лидии Александровны — Екатерина Александровна Потёмкина, старушка весьма оригинальная, умная, не лишённая больших чудачеств. Она

была очень близка к нашей семье; моя мать и отец очень любили Екатерину Александровну и всячески о ней заботились. Нас, детей, Екатерина Александровна нежно любила. Лидия Александровна почему-то вообразила, что её сестру мои родители эксплуатируют и обирают. Стало известно, что свой дикий поступок со мной она сама объяснила таким образом. «Она, — сказала Лидия Александровна про мою мать, — может делать свои гадости по отношению к кому угодно, мне до этого нет дела, но когда дело коснулось моей родной сестры, я восстала! Что ж, в самом деле, пусть София Ивановна генеральша, а я — княжна!» Выходка Лидии Александровны страшно возмутила мою добрую мать. Она написала тетушке негодующее письмо, полное справедливых упреков. Нет сомнения, что получение такого письма доставило злой и пустой старухе искреннее удовольствие: цель задеть и больно оскорбить человека была вполне достигнута.

Простившись с Борисом и Сашей, я тронулся в дальнейший путь: Ивановское было расположено от Малоархангельска в тридцати верстах. Во второй половине дня, «по холодку», я проехал деревню Фураевку и увидел старый ивановский парк, берёзовую аллею, ведущую к въезду в усадьбу. Сердце радостно забилось. У подъезда я уже издали заметил огромную богатырскую фигуру дяди Серёжи, рядом с ним стоял поджидавший меня брат Саша.

Я приехал, взяв с собой ружьё и все припасы, рассчитывая пособирать птиц. В первые же дни я приступил к действиям. Мой энтузиазм, интерес и увлечение орнитологией понравились дяде, который сам был охотником и любителем природы. Я рыскал по окрестностям и уже в первые дни обнаружил некоторые виды птиц, о существовании которых дядя Серёжа не имел представления. Старая усадьба с её парком, садами и большим прудом представляла как бы оазис среди плоской равнины полей. Степной целины и даже залежей не было и следов, их вытеснила земледельческая культура. Старый сад с разнообразной растительностью, болотистая луговина за садом с зарослями ив и ракит, огромный пруд привлекали различных пернатых. Здесь иногда в большом числе останавливались пролетные утки, держались серые куропатки, с характерным шумом взлетали пролетные вальдшнепы. В сад налетали хищные птицы. Я не смог сразу определить крупных хищников, пока 19 августа не застрелил одного из них, оказавшегося осоедом. Позднее я настрелял их целую серию. В саду держались тетеревятники, мелкие соколы-чеглоки и кобчики. Мне была предоставлена в доме особая комната для препаровки шкурок; целыми часами возился я в этой мастерской, снимая шкурки и набивая тушки. Всё это было ново и интересно. Я вёл подробные дневники, записывал всё виденное и чувствовал, что изучение «орнитологической фауны Орловской губернии» меня по-настоящему увлекает.

Я попросил дядю Серёжу показать мне знаменитое ружьё Гринера[66], принадлежавшее покойному дяде Петру Ивановичу Киреевскому, прекрасному охотнику и необыкновенно талантливому художнику. Акварельные рисунки птиц Петра Ивановича, альбом которых был у нас в Москве, превосходили по жизненной правде, по тонкости и красоте всё, что я до сих пор видел. Я знал историю этого знаменитого ружья, принадлежавшего к самому высокому сорту Гринеровских ружей и стоившего около девятисот рублей. Это было сильное садочное ружьё[67] необыкновенно красивой и точной работы с золотой английской короной на топливере (верхней скобе затвора). Я с восторгом глядел на это ружьё, а в душу невольно закрадывалась мысль: «Вот бы получить его!»

---

[66] Английская оружейная династия Гринеров славилась высоком качеством своих ружей и многочисленными усовершенствованиями.

[67] Садочное ружьё — ружьё с боем высокого качества, рассчитанное на усиленные заряды пороха.

Незаметно промелькнул август, полный разнообразных впечатлений. Дядя Серёжа помногу и охотно разговаривал со мной и с братом Сашей. Обычно мы обедали в так называемой «беседке», капитальном сооружении в саду около дома. «Беседка» была большая, с длинным столом и массивными дубовыми диванами по его краям; в беседке был особый буфет; крыша из дранки держалась на толстых дубовых столбах; стена была только одна, там, где расположен был буфет. Бывало, после обеда мы долго слушали яркие, образные рассказы дяди из его прежней жизни и пили прекрасные домашние наливки, которые с великим мастерством изготовляла тётя Лиза. Но вот наступило время отъезда 30-го августа. В последний раз вышел я на балкон взглянуть на старый сад, липы которого начали желтеть. Стоял погожий, солнечный день, стаи дроздов-рябинников перекликались за прудом, высоко в воздухе парили пролетные канюки. Прощай Ивановское, прощай охота! Впереди долгая осень и зима, гимназия с её уроками: математикой, греческим языком и латынью. Коляска выехала из усадьбы, и мы, обернувшись, в последний раз глядели на высокую фигуру дяди, который с крыльца смотрел вслед удаляющемуся экипажу.

По приезде в Москву я побывал у П.П. Сушкина и показал ему некоторые экземпляры моей коллекции, преимущественно камышевок. Для определения эти маленькие птички считаются особенно трудными, признаки отличия между видами незначительны и основываются главным образом на тонких оттенках цвета пера, а также на так называемых «крыльевых формулах», т. е. на соотношениях длины маховых перьев. К моему великому удовольствию все определения, сделанные мной, оказались точными. П.П. Сушкин похвалил меня, сказав, что я разобрался в отличиях двух близких видов: *Acrocephalus palustris* и *Acrocephalus streperus*[68].

Посещения М.А. Мензбира и его лаборатории представляли для меня какую-то особую чарующую прелесть. Я чувствовал огромный пиетет к личности профессора: Михаил Александрович мне крайне нравился, каждое его слово ловилось мной на лету и врезывалось в память. Этот человек имел какое-то особое очарование: я перед ним робел и восхищался, его приветливая улыбка или ласковый взгляд были для меня словно блеском яркого солнца. В Михаиле Александровиче чувствовалось горение внутреннего интереса к науке, в частности к любимой отрасли, к орнитологии. Вся обстановка его лабораторного большого рабочего кабинета, разложенные на столах шкурки птиц, подготовленные к его монографиям прекрасные акварельные рисунки птиц, исполненные лучшими английскими художниками, а также ещё начинающим тогда молодым художником В.А. Ватагиным[69], казались такими заманчивыми! Я чувствовал неудержимое стремление учиться и работать, считая зоологию венцом всех интересов и знаний! Я прочитал в сочинениях Ч. Дарвина, что в молодости великий натуралист, увлекаясь орнитологией, не мог понять, как люди могут быть равнодушны к этой области научных знаний. Как понимал я тогда Дарвина, как сочувствовал ему…

Побывав у М.А. Мензбира, я заражался энтузиазмом на много дней, а по ночам во сне грезил птицами и заманчивыми охотами. Страсть к зоологии была у меня в крови. Всё это тем более интересно, что в средней школе естественные науки тогда вовсе не преподавались. Их только начали вводить в реальных училищах. В гимназии Поливанова, где я учился, преподавалась только физика, некоторые основы химии и космография. Учеников давили классицизмом: греческим и латинским языками. Но уже стали печататься противоположные высказывания; появилась, например, брошюрка профессора А.П. Павлова, в которой доказы-

[68] Болотная и евразийская камышевки.

[69] Ватагин Василий Алексеевич (1883–1969) — известный российский художник-анималист, скульптор, учёный-зоолог, действительный член Академии художеств. В дальнейшем иллюстрировал фундаментальный труд С.И. Огнёва «Звери СССР и прилежащих стран».

валась необходимость введения в программы средней школы наук естественных — зоологии и ботаники. Вскоре после окончания мной гимназии (в 1905 году) естествознание проложило, наконец, себе путь в программы нашей средней школы.

Прошла зима и настала весна 1904 года. Я учился, в общем, хорошо, но к весне стал чувствовать заметную усталость и приобрёл несколько болезненный вид. Моя добрая мать встревожилась, пошли совещания с докторами, явились опасения склонности к туберкулезу. П.С. Усов[70], которого пригласили осмотреть меня, сказал, что моё здоровье плохо, что мне необходим хороший отдых! У мамы явилась мысль отправить меня ранней весной в Ивановское. Ничего лучшего для меня нельзя было придумать! Я до известной степени нарочно принимал томный и слабый вид, мечтал до окончания гимназических занятий попасть в Ивановское и хорошенько пособирать и понаблюдать птиц. Шли переговоры с директором И.Л. Поливановым. Как я сказал, в 1903/1904 учебном году я учился хорошо, и Поливанов был согласен перевести меня без экзаменов в восьмой класс, разрешая в то же время уехать почти за месяц до окончания учения. Я был в восторге и стал готовиться к отъезду. Весна 1904 года была поздняя, долго, почти до середины апреля, стояли холода, затем неожиданно наступило сильное потепление, и снег стаял в несколько дней. Мой отъезд в Ивановское был назначен на 18 апреля. С огромной радостью и чувством сердечной признательности к хлопотам милой и заботливой матери я уехал на Курский вокзал. 19 утром я был уже в Понырах и на тройке в дорожном тарантасе катил в имение. Я никогда не забуду очарования этой ещё ранней весны! В селе Верхососенки я не выдержал: сел на велосипед и покатил вперед. Я приехал в Ивановское значительно ранее кучера Игната. Дядя Серёжа мне очень обрадовался, он взял мой велосипед, внес его в предназначенную для меня комнату и почему-то поставил его на широкий диван. На другой же день по приезде «больной и слабый мальчик», забыв увещания отдыхать и поправляться, стал гонять и рыскать по окрестностям с ружьём в руках. Мог ли я при таких счастливых обстоятельствах целиком исполнять мамины увещания, которые она мне посылала в письмах: «Милый, помни, что ты обещал мне: не влезай по пояс в воду, как ни хороши твои сапоги, а выше себя не защитят от воды. Пожалуйста, будь благоразумен и возвращайся здоровым, чтобы для меня в данном случае цель вполне бы оправдала средства». Весна манила меня своей чарующей прелестью. Листва на деревьях только распускалась, в низинах парка, в кустах, прилегавших к пруду, пели и заливались только что прилетевшие соловьи, токовали козодои, слышались флейтовые ноты дроздов. Я пошёл на заветное болото за парком. Здесь скрипели коростели, перекликались погоныши, а на ещё не покрытых листвой, желтеющих пушистыми серёжками ивняке распевали варакушки. Я впервые наблюдал в природе этих очаровательных по красоте птичек и добыл несколько экземпляров. В степном лесу, в Степанищевском болоте, я поднял уток и застрелил гаршнепа. Тогда же весной я решил ловить мелких зверьков, ставил ловушки-душилки, из которых по утрам вынимал пойманных землероек, лесных мышей и полевок. Я собирал также амфибий и рептилий и вёл подробные дневники. Всё это было крайне увлекательно. На велосипеде я ездил по окрестностям, перекинув через плечо ружьё и захватив все необходимые доспехи. Я часто наезжал в Богородицкое к моему деду Александру Николаевичу Киреевскому. В Богородицком с его большими прудами, зарослями камышей, с его прекрасным старинным парком было много птиц; держалось также множество летучих мышей, которых я стрелял мелкой дробью. В мае месяце приехал брат Саша, бывший тогда студентом первого курса естественного факультета. Саша рассказывал мне о своих экзаменах, которые он отлично сдал, в частности об экза-

[70] Усов Павел Сергеевич — врач, гистолог, ученик Ивана Флоровича Огнёва (отца Сергея Ивановича).

мене у М.А. Мензбира по «Введению в зоологию». Я слушал его с замиранием сердца и думал, как-то я буду держать экзамен у своего земного кумира!

Двадцать третьего июня мы с братом Сашей уехали из Ивановского и вторую половину лета до осени прожили на даче в Гжатском уезде Смоленской губернии. Там, между прочим, оказалась очень хорошая охота по болотной дичи.

Зимой 1904/1905 года мне пришлось много заниматься в восьмом классе и подготавливаться к экзаменам на аттестат зрелости.

П.П. Сушкин вернулся в тот год осенью из Тарбагатайской экспедиции, куда ездил со своей молодой женой Анной Ивановной. Женитьба Петра Петровича меня очень поразила: я наивно считал, что у учёного, увлечённого наукой, не может и не должно быть других интересов, особенно таких лично-житейских, как женитьба, отвлекающих от прямого дела. Сушкин, видимо, держался мнения противоположного.

Как сейчас помню Петра Петровича в зале Сравнительно-анатомического института, где стояли экспедиционные ящики, из которых Сушкин вынимал и раскладывал многочисленных птиц в виде мастерски сделанных тушек. Пётр Петрович показывал большие серии шкурок сорокопутов-жуланов; в одной и той же местности попадались формы различных подвидов и переходные особи. Сушкин полагал, что в области Тарбагатайских предгорий он нашёл место как бы интенсивного формообразования этих интересных птиц. К нам своей характерной походкой несколько «в развалку» подошёл Михаил Александрович и молча рассматривал сорокопутов.

Время шло, приближалась весна 1905 года, когда я должен был держать выпускные экзамены. В университете было неспокойно: студенты, в знак политического протеста, объявили общую забастовку, и занятия совершенно остановились на всё второе полугодие. Гимназические экзамены меня сильно волновали, особенно боялся я математики. Отсутствие способностей к этой точной науке было моим постоянным несчастьем. У нас в гимназии Поливанова был хороший опытный учитель математики — величавый старец Н.И. Шишкин, о нем я напишу как-нибудь особо, когда буду говорить о гимназических годах. Несмотря на то, что Шишкин хорошо, лаконично и ясно объяснял различные теоремы и алгебраические действия, беспокойный, вспыльчивый и раздражительный нрав мешал ему дать настоящие, дополнительные пояснения в тех случаях, когда что-либо не было понятно. Особенно невозможен был он на письменных работах, когда время урока близилось к концу, — тогда он нервировал учеников своими резкими, зловещими возгласами: «Десять минут осталось, пять минут осталось!»

Иногда я впадал в мрачность и мне казалось, что в случае провала на выпускном экзамене я не переживу этого позора и огорчения и покончу с собой. Университет рисовался мне в манящих, ярких красках. Это была мечта моей жизни в этот её период. Наконец в последних числах мая закончилась моя страда: гимназия была позади! Я немедленно пошел в Университет и подал прошение о приеме на естественное отделение физико-математического факультета. Одновременно с этим я купил себе студенческую фуражку и фирменное платье: тужурку с зелёными брюками. Можно было ехать на дачу отдыхать.

В этом году мы поселились в имении Спасском, принадлежавшем Лидии Филипповне Маклаковой, вдове известного профессора Алексея Николаевича Маклакова (медика, специалиста по глазным болезням). В Спасском, расположенном в Звенигородском уезде, был поместительный старый барский дом, который мы сняли на лето; красивый небольшой липовый парк спускался к реке Истре. В полутора верстах от дома на высоком берегу Истры высился вековой участок мачтового леса, площадью около 10–12 десятин. В стороне от леса, на противоположном берегу Истры, было расположено имение адвоката Василия

Алексеевича Маклакова и деревня Дергайково. Мне рассказали, что великолепный лесной участок — Логанково — был лишь последним остатком большого по площади леса. Покойный А.Н. Маклаков был женат вторым браком на Лидии Филипповне. Ещё при жизни мужа, по её просьбам, этот прекрасный лес был почти сведён. Лидия Филипповна покушалась и на Логанково. Однако её пасынок В.А. Маклаков через суд запретил сводить эту часть уцелевшего леса, удерживавшего от осыпей высокий речной берег. Я вполне понимал его: Логанково было настоящим украшением всего места; из Дергайкова открывался чудный вид на этот замечательный лесной остров.

В первое утро по приезде в Спасское мы прошли с моим младшим братом Володей, тогда одиннадцатилетним мальчиком, погулять к реке Истре. Вскоре мы заметили большую хищную птицу, сидевшую на низкой ольхе в прибрежной урёме[71]. Я предложил Володе подойти к хищнику и сказал, что буду издали показывать, как надо правильно «скрадывать»[72]. Сам я не дал себе труда посмотреть, что за хищник сидит на ольхе; издали я подумал, что это канюк. Взглянув повнимательнее, я убедился, что птица очень велика. Со мной был восьмикратный бинокль Цейса. Я взглянул и обмер: на ольхе сидел великолепный беркут! Володе как раз в это время удалось подойти к орлу на очень близкое расстояние. Расправив огромные крылья, мощный хищник тяжело поднялся в воздух. С этого дня я стал усиленно искать беркута; я обнаружил, что орлов держится парочка. Я горел желанием и нетерпением добыть орла для коллекции. П.П. Сушкин говорил мне, что стреляет беркутов дробью № 1. Я слепо решил последовать этому нелепому указанию. Первым номером беркута можно убить наповал только из очень сильного садочного ружья и притом на относительно небольшом расстоянии. У меня в то время было легонькое ружьё Новотны 16-го калибра, о котором я писал уже ранее. Помню, как бродя по Логанкову, я неожиданно услыхал невдалеке громкий орлиный клекот. Я стал подходить, держа ружьё наготове. Крики звучали всё ближе и ближе; сердце мучительно замирало. Вдруг, шагах в тридцати со средних ветвей огромной ели с шумом поднялся беркут; от волнения и горячки я позорно промахнулся. Беркут сел тут же на вершину ели. Я тщательно прицелился и выстрелил, беркут улетел. Осмотревшись, я заметил на ели огромное орлиное гнездо, которое, странным образом, помещалось не у ствола дерева, а на конечной части большой ветви, примерно на середине высоты ели. Если б я был в то время менее горяч и решил бы действовать разумно и наверняка, я должен был оставить орлов гнездиться, а затем во второй половине лета добыть молодого орла и, также почти наверно, одну из старых птиц. Глупая охотничья горячность и страстность толкали меня на другое. В тот же день вечером в сумерках я воровски подкрался к гнезду; оба орла были тут. Осторожно подобрался я к одному из них на хороший выстрел, выцелил и спустил курок. Орлы улетели. Нет сомнения, что злополучный орёл, по которому я стрелял, был убит, но смог улететь на некоторое расстояние. С этого рокового дня я видел только одного орла. Гнездо было брошено. Я организовал добычу гнезда, оно вместе с подпиленным суком было спущено на веревках. В гнезде был только что вылупившийся из яйца мертвый птенец, которого я положил в банку со спиртом. Глупее этой охоты ничего нельзя было придумать. Я был в отчаянии и ходил мрачный и понурый по крайней мере две недели.

В конце лета папа подарил мне своё ружьё, называемое у нас в доме «большим Франкоттом». У папы в то время было два ружья: упомянутый охотничий Франкотт 12-го калибра, по внешности копия с куркового ружья Пёрде[73], и Франкотт-«плюм», весивший всего

[71] Урёма — мелкий лес и кустарник, растущий в низменных долинах рек.

[72] Бесшумно, незаметно подкрадываться к дичи.

[73] Знаменитая английская ружейная марка.

шесть фунтов. Папа в то время совершенно оставил охоту. Ружьё, которое он мне подарил, отличалось великолепным боем; из всех многочисленных ружей, которые у меня потом перебывали, оно было одним из самых лучших. Это ружьё служило мне до 1919 года, когда его у меня украли.

До конца июля я прожил в Спасском, а потом уехал в Ивановское: меня тянуло туда продолжать начатые исследования Орловской фауны.

Я приехал в Ивановское 23 июля и с большим жаром принялся за свои экскурсии. Сам дядя Серёжа помогал мне, видя мой энтузиазм и интерес. Как-то в течение нескольких дней я вечером наблюдал крупную самку ястреба-тетеревятника. Птица садилась на ночёвку в старых берёзах большой аллеи, окаймлявшей парк по ту сторону пруда, считая от усадьбы. Когда я шёл по аллее с ружьём наготове, ястреб шумно слетал с берёз и быстро устремлялся в открытое поле. В горячке от волнения я стрелял по ястребу и регулярно промахивался. Дядя взялся мне помочь; он был отличным стрелком, и я надеялся на его искусство. Дядя взял «Гринера» и направился к указанному месту. Вскоре я услыхал два последовательных выстрела. Увы! Оказалось, что раненый ястреб всё же улетел!

Я настрелял много различных птиц, в том числе хорошие серии хищников. Охотился я без собаки, но даже и тогда, несмотря на распашку степи и осушение болот, дичи всё жё было много. Как-то мне пришлось попасть на оставшиеся не убранными полосы гречихи. Перепелов там оказалось такое множество, что в самый короткий срок, почти непрерывно стреляя, я растратил все бывшие со мной патроны. Из этих перепелов был приготовлен отличный паштет. Однажды я, возвращаясь вечером на велосипеде из Богородицкого, увидал на лесной полянке целую партию зайцев-русаков. Они резвились и играли на полянке и, увидав меня, разбежались в разные стороны. На другой день вечером я взял ружье и, садясь на велосипед, сказал тёте Лизе, что привезу зайца. Подъехав к полянке, я тихо сошёл с велосипеда и с ружьём наготове стал заходить из-за кустов. Все зайцы, их было штук 8–10, были на своих местах; они скакали, кувыркались, играли. Полюбовавшись на эту сцену, я выстрелил в крупного русака, он перевернулся через голову и лег мертвым, я выстрелил второй раз, и другого зайца постигла та же участь. Что тут началось! Испуганные звери стали метаться во всех направлениях; я быстро вкладывал патроны, но так и не успел заполучить новую жертву: зайцы разбежались. В ту осень в кустах близ леса Мохового держался выводок волков; я несколько раз видел этих зверей.

У дяди Серёжи был в то время управляющий Василий Гаврилович, страстный охотник. Мои похождения с ружьём и стрельба не давали ему покоя, он стремился отвести душу на стрельбе пернатой дичи. Надо сказать, что Василию Гавриловичу очень везло. Помню, как пятого сентября он торжественно появился у нас в доме, неся огромного ястреба-тетеревятника, того самого, в которого мы неудачно стреляли. Когда я снимал шкурку с этой птицы, обнаружились недавние уже поджившие раны. Ястребу, видимо, полюбился большой Ивановский сад, он находил там хорошую поживу и не оставил старого места.

В Богородицком у дедушки Александра Николаевича[74] проживал в то время его беспутный племянник Владимир Дмитриевич Киреевский, так ярко описанный в воспоминаниях моей матери. Владимир Дмитриевич, несмотря на своё разорение, остался верен своим привычкам и, хотя в скромном масштабе, но позволял себе разные затеи. В теплице и оранжереях он устроил очень искусно «сталактитовые пещеры», сооружённые, как он говорил, из старого тряпья и какой-то серой глины с гипсом. «Пещеры» были украшены вьющимися растениями; среди зелени ворковали египетские горлинки. В огромных цветниках были со-

[74] Александр Николаевич Киреевский.

оружены обширные клумбы, в центре которых красовались домики, обвитые живыми цветами; в этих домиках по вечерам зажигались лампочки, что придавало цветникам причудливый вид. В центре главного цветника был высокий фонтан. Создавалась обстановка какого-то загородного большого и роскошного парка. Владимир Дмитриевич, как потом мне сказали, тяготился пальбой, которую я открывал по различным птицам, но из деликатности не хотел мешать моему увлечению зоологией.

Во время моего пребывания в Ивановском я получал письма от своих. Мой младший брат Володя, очень меня любивший, собирал для меня бабочек в Звенигородском уезде на нашей даче и сообщал мне о своих успехах. Володя в то время, в значительной мере под моим влиянием, увлёкся зоологией. В августе 1905 года он писал мне: «Я видел орлов три раза, всё те же беркуты. Тетеревятник живет в Логанкове. Можешь, Серёжа, себе представить экий, право, плут этот тетеревятник. Раз как-то иду я гулять с папой и Сашей и вдруг вижу — сидит какая-то хищная птица, смотрит на нас. Папа говорит, что это сокол, но я не поверил и стал осторожно подходить. Я приблизился шагов на десять, а ястреб всё ещё сидел; подняв одну лапу, он посмотрел на меня; я крикнул, и молодой тетеревятник полетел к себе в Логанково».

От Саши я также получил интересное для меня письмо, датированное вторым сентября. Саша писал, что положение в университете «сильно улучшилось, так что начало занятий не подлежит сомнению. За начало даже самые крайние студенты, только немногие упорствуют. Во всяком случае, седьмого сентября общая сходка, на которой, почти несомненно, решат заниматься. Сегодня выборы ректора[75]». Я стал волноваться и стремился в университет, в Москву. На этот раз там было для меня всё так ново, интересно.

Пришло время моего отъезда. Приближалась грозная осень 1905 года. Я был тогда ещё очень юн, полон надежд, жизнь открывалась передо мной во всём её заманчивом блеске. Но, несмотря на розовые надежды, на радость, что стремлюсь в Москву в университет, а не в надоевшую мне гимназию, какие-то мрачные тени тревоги закрадывались и в мою душу. В Орловской губернии было тогда ещё спокойно, но во многих местах, особенно на юго-востоке Европейской России, уже зарождались крестьянские волнения, уже начали зловеще полыхать зарева пожаров помещичьих усадеб в тёмные осенние ночи, уже стали известны случаи убийств и насилий; в русской деревне начиналось тяжёлое время. С какой-то тайной тревогой простился я с дядей Серёжей, который был мне близок и мил. Последний раз посмотрел я с балкона на старый сад, каждый уголок которого был мне так знаком. Когда экипаж выехал за ворота и лошади быстро побежали по берёзовой выездной аллее, я обернулся назад. Не знаю почему, но слёзы невольно затуманили мой взор, тяжёлое предчувствие шепнуло мне, что я вижу милое старое Ивановское в последний раз. И это грустное предчувствие меня не обмануло…

В середине октября в Москве, когда события быстро развивались и жизнь стала лихорадочно беспокойной, я получил от дяди Серёжи короткое письмо. Он сообщал мне, что Василий Гаврилович — «наш Вильгельм Телль» — опять имел большой успех. В двадцати шагах от него с небольшой берёзы слетел орёл, который был застрелен удачливым стрелком. Дядя Серёжа снял шкурку, засолил её и в таком виде выслал мне, как он выразился, эту «большую гадость». Я беспокоился, что железнодорожные забастовки задержат посылку, но она благополучно прибыла. К великой радости я увидал отлично снятую шкуру очень крупной молодой самки беркута. П.П. Сушкин, полюбовавшись орлом, сказал: «Напишите вашему дяде, чтобы он почаще посылал вам подобные „большие гадости"».

---

[75] Университет получил автономию, и совет профессоров впервые мог сам выбрать своего ректора. Единогласно был избран князь Сергей Николаевич Трубецкой (прим. С.И. Огнёва).

Оглядываясь назад на далёкое прошлое, я могу сказать, что ещё в гимназические годы я подготовил две работы: одну об орнитологической фауне Смоленской губернии, другую в виде сырого материала из дневников, записей и коллекций по фауне наземных позвоночных юго-востока Орловской губернии. Эта вторая работа послужила в дальнейшем темой моего студенческого кандидатского сочинения и также была напечатана. Пусть эти обе работы носят ещё юношеский отпечаток, они были выполнены, в сущности, без всякого руководства, только благодаря моей инициативе и живому интересу к любимому делу. Воспоминания об этих годах мне сейчас очень дороги и отрадны. Всё прошлое представляется таким близким и недавним!

Помню, когда я был ещё очень молод, мне всегда казались странными разговоры старших, что при воспоминании о прошедшей молодости кажется, будто она была ещё вчера. Неужели, думалось мне, долгие годы не создают впечатления давно отошедшей дали, подернутой туманом потускневшего прошлого? Теперь, когда почти все близкие мне люди, мои родные и многие друзья давно умерли, когда я остался один, как живой анахронизм, я както не хочу верить этому одиночеству. Когда я пишу эти строки, мне невольно кажется, что продолжаю жить среди моих ушедших близких, что душа моя среди них, что связь с ними не утрачена. И в этом чувстве много боли и радости.

S.I. Ognev's memoires "How I became a zoologist"

The publication, introductoty article and comments by Elena P. Kryukova

Sergei Ivanovich Ognev (1886–1951) is an outstanding Russian zoologist, the founder of the Moscow scientific school of theriologists. His scientific interests began to form from childhood thanks to the atmosphere created by his parents: his father Ivan Florovich Ognev, a histologist, professor of Moscow University, and his mother Sofia Ivanovna Ogneva nee Kireevskaya (the famous Russian philosopher I.V. Kireevsky was her relative). Like the vast majority of zoologists — his contemporaries, S.I. Ognev was formed as zoologist with a strong influence of hunting predilections. In his memoirs, S.I. Ognev devotes a lot of space to his first hunting experience. To the ear of a modern reader, this may sound shocking, but the inextricable connection of vertebrate zoology with hunting was the absolute standard for science until quite recently. The memoirs of S.I. Ognev quite accurately describe the atmosphere of the zoological community of that time. He also talks about his first collections of insects he personally caught or acquired. His memories of people who had the strongest influence on the formation of his interest in zoology are especially valuable. Among them were famous zoologists M.A. Menzbir and P.P. Sushkin, as well as his relatives.
This manuscript of S.I. Ognev is stored in the archive of Ognev family and prepared for publication by his niece Elena Petrovna Kryukova.

Keywords: Sergei Ivanovich Ognev, ornithology, entomology, the Ognevs, the Kireevskys, M.A. Menzbir, P.P. Sushkin, the Polivanov gymnasium.